

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА *В* БОЛЬШИЕ КНИГИ

Вениамин
Каверин



ОТКРЫТАЯ
КНИГА

РОМАН

«АББУКА»



Вениамин Александрович Каверин

Открытая книга

Серия «Русская литература.

Большие книги»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67970619

Открытая книга: Азбука, Азбука-Амтикус; СПб.; 2022

ISBN 978-5-389-21828-4

Аннотация

Можно ли вместить человеческую жизнь в пространство одной книги? В знаменитом романе Вениамина Каверина, автора всеми любимых «Двух капитанов», рассказана история молодого талантливого ученого-микробиолога Татьяны Власенковой. Чувство первой любви, горечь первого предательства, мечты о личном счастье вплетаются в единый поток жизни наряду с подробностями повседневных и профессиональных забот. Над «Открытой книгой» писатель работал около десяти лет. Журнальная публикация первой части (1948) вызвала шквал официальной критики – настолько правдиво Кавериним были показаны условия, в которых в советское время проходила научная жизнь: риск и самопожертвование – с одной стороны, давление партийной идеологии – с другой. Писатель не изменял

своим нравственным принципам в самые сложные времена, и это во многом определило успех его произведений.

Содержание

Часть первая. Юность	7
Глава первая. Первые страницы	7
Таня	7
О чем рассказал Андрей	17
«Депо проката роялей и пианино»	24
Скоро домой	29
Старый доктор	36
Загадка	43
Свидание	51
Замостье	55
Письмо. мамино детство. Снова у Львовых	64
Павел Петрович	86
Глава вторая. Старый доктор	102
Для кого?	102
У Львовых гости	109
Встреча	116
Друзья	121
Голосую «против»	125
Думаю	132
Разговор с Глашенькой	141
Дебют	147
Ночь на пустыньке	152
Несколько дней	160

«Синема – чудо XX века»	170
Слушаю курс	176
Отец	181
Прощание	190
Заботы	198
Новогодняя ночь	203
Старая история	208
Решение	214
Сон	219
Тишина	227
Глава третья. Студенческие годы	238
Испытание	238
Первые годы	247
Три дома	262
Конец ознакомительного фрагмента.	273

Вениамин Каверин

Открытая книга

© В. А. Каверин (наследники), 2022

© Ю. И. Пименов (наследники), иллюстрация на обложке,

1968

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021

Издательство АЗБУКА®

Часть первая. Юность

Глава первая. Первые страницы

Таня

Раз-два! Сперва все ножи я воткнула в песок крест-накрест, и получилась прекрасная решетка, совсем как вокруг губернаторского садика на Расстанной. Потом стала по очереди вытаскивать их и снова втыкать – так было веселее работать. В общем, я даже любила чистить ножи, мне нравилось, когда они начинали блестеть. Вытирать посуду – это тоже было ничего, если бы Домна Ефимовна не сердилась, когда нужно было просить у хозяйки чистое полотенце. Сердилась она на хозяйку, а попадало-то мне! Мыть тарелки – это было хуже всего, потому что официанты ставили глубокие тарелки на мелкие селедочные, а селедку у нас жарили на постном масле, и такую посуду было очень трудно отмыть.

Сильный мороз стоял на дворе, и левая рука так замерзла, что даже хотелось постучать ею, как деревяшкой. Но все-таки я вычистила ножи, все до единого, только не стала натирать кирпичом. Трактир Алмазова был в городе, а мы с мамой жили за рекой, в посаде Замостье, и на том берегу

начиналась дорожка, по которой ночами я боялась ходить. Черные тени косо пересекали ее, а над головой гулко стучали сухие, замерзшие ветки. Тихонько, чтобы не услышала Домна Ефимовна, я поставила под крыльцо ящик с песком и вернулась на кухню. Лучше было уйти незаметно, тем более что еще несколько грязных тарелок стояло на плите – эти были уже не от гостей, должно быть, сама хозяйка принесла их, пока я чистила ножи на дворе. Осторожно, чтобы не загреметь, я засунула тарелки подальше в стол – вымою утром. Но в эту минуту Домна Ефимовна вышла из своей каморки и закричала: «Ты что же это делаешь, дрянь этакая!» – хотя прекрасно видела, что я уже помыла лохань. Пришлось засучить рукава и снова приняться за работу.

Теперь я уже не думала о дорожке на том берегу, потому что все равно стемнело, городовые сменились, и газовый фонарь – единственный на всю Застенную – зажегся подле трактира. Теперь я беспокоилась, как бы мама не вздумала пойти мне навстречу, а она нездорова и утром, когда мы пили чай, все охала и жаловалась на сердце. Торопливо вымыла, вытерла я хозяйскую посуду, прибрала кухню и, обвязавшись крест-накрест платком, стала натягивать на себя старенькую жакетку. Но Домна Ефимовна снова вылезла из каморки – тощая, злющая, в очках, с седой крысиной косичкой.

– А керосин? Забыла?

Батюшки, да что ж это я? Керосин кончается, хозяйка велела сбегать к Бобриковым, а я забыла! Да не потеряла ли

еще пятиалтынный? Нет, цел, слава богу.

– Сейчас сбегая, Домна Ефимовна.

– Сбегаешь! Небось закрылись уже!

– Не беда, зайду с черного хода.

Вот когда действительно нужно было спешить! А что, если Бобриковы не отпустят с черного хода? Бутыль стояла в сенях, я схватила ее, опрометью выбежала на улицу – и в двух шагах от меня промчались покрытые богатой медвежьей полстью широкие сани.

– Дорогу!

Сани круто повернули за угол, но я успела заметить, что в них сидят какие-то люди в светлых шинелях – гимназисты или офицеры?

Бобриковы отпустили с черного хода, я отдала керосин Домне Ефимовне, побежала домой и, спускаясь с Ольгинского моста, снова увидела этих людей в светлых шинелях. Они раздвоились, или у меня стало двоиться в глазах, но за первыми двумя поодаль шли еще двое. Потом они замедлили шаги и стали негромко разговаривать; до меня, к сожалению, не доносилось ни слова. Они стояли и разговаривали, как будто был не декабрь месяц, а май, когда молодежь из окрестных деревень приезжала погулять в посаде.

Это было действительно странно! Зачем они приехали сюда так поздно? Зачем свернули с набережной и пошли через поле? Что собираются делать в двух шагах от кожевенного завода, у которого теперь, во время войны, всегда стояла

охрана? Почему двое отошли в сторону, а двое закурили и, постояв, стали крупно шагать по полю, точно собрались измерить его шагами? Снег был глубокий, они проваливались, но все-таки продолжали шагать. Почему двое оставшихся в стороне сняли шинели? Было очень холодно, но они как ни в чем не бывало бросили на снег шинели и медленно, как бы нехотя пошли навстречу друг другу...

Луна была ясная, и, когда они остановились в двадцати шагах друг от друга, я, как на экране, увидела их в гимназических куртках, с ремнями и светлыми бляхами, на которых, казалось, можно было даже различить большие буквы «Л. Г.» – Лопахинская гимназия.

В ту пору я все выбирала – у меня была такая привычка. Среди учениц прогимназии Кржевской, которых я видела лишь издалека в их белых передничках и коричневых платьях, я выбирала подруг. Я выбирала дома, в которых мне хотелось бы жить. Сейчас из двух гимназистов, стоявших друг против друга, я выбрала того, который стоял слева. Он был высокий, прямой, с откинутыми назад плечами. Фуражка у него была надета низко, и нос из-под козырька казался неестественно длинным. Он смотрел мрачно, пристально, исподлобья. Но все-таки я выбрала его, потому что второй был какой-то неприятный – полный, с короткими ногами. Должно быть, ему было холодно, потому что время от времени он начинал трястись, торопливо дыша на дрожащие пальцы.

Мне тоже было холодно, и я бы охотно ушла – мама, должно быть, заждалась! Но это было невозможно, потому что я никак не могла понять, что они собираются делать.

И вдруг мне пришло в голову, что это дуэль.

Правда, я знала, что такое дуэль, и это хождение ночью в поле и разговоры были совершенно на нее не похожи. Я видела в кино, как настоящие мужчины дрались на настоящей дуэли. Они были красивые, в цилиндрах, и когда подросла полиция, один был уже убит, а другой ранен.

Но и это была дуэль! Меня даже затрясло, так стало вдруг интересно. Очевидно, те, которые отмеривали шаги, уговаривали тех, которые стояли. Они доказывали что-то, убеждали – в чем и зачем? Но эти уговоры не привели ни к чему, потому что, совершенно одинаково махнув рукой, те, которые отмеривали шаги, достали откуда-то два револьвера...

В эту минуту облако нашло на луну, снег перестал искриться, лужок потемнел. По-прежнему молча стояли друг против друга два гимназиста, но точно что-то новое, страшное вдруг отделило их от двух других, которые отошли теперь далеко, как бы отчаявшись что-либо изменить. Мрачно, из-под низко надвинутой фуражки смотрел на своего противника первый гимназист. Крепко прижавшись к плечу щекой, выставив вперед ногу, испуганно-злобно и как бы с отчаянием смотрел второй.

Я хотела крикнуть им, что здесь нельзя стрелять – военный завод! Но было уже поздно. Полный гимназист поднял

руку, выстрелил... И ничего не произошло, должно быть, промахнулся.

Теперь стал целиться другой, в надвинутой на лоб фуражке. Без сомнения, он нарочно целился так долго – то в лицо, то в живот. Наконец, сказав: «А, черт с тобой!» – он отвел руку и выстрелил в сторону. Он выстрелил в мою сторону, это я поняла еще прежде, чем услышала выстрел. Он выстрелил в меня и, кажется, попал, потому что я увидела небо – и вовсе не там, где оно было мгновение тому назад. Не там, над гимназистами, над полем, которое, переходя за Степановским лужком в косогор, поднималось к черной громаде завода, а высоко перед собою.

Только что мне было холодно, я не хотела, чтобы они стреляли, и волновалась. А теперь мне было не холодно, и я несколько не волновалась. Я лежала и смотрела в небо. Я знала, что он попал в меня и убил и что сейчас все кончится навсегда.

* * *

Придя в себя, я прежде всего вспомнила эту минуту – когда почувствовала, что сейчас кончится не знаю что, но самое последнее в жизни. Я лежала, не открывая глаз, и думала. Было трудно вздохнуть, но все это происходило уже после той последней минуты. После! Я стала радостно, шумно дышать. И потом несколько раз возвращалась к этому счаст-

ливому «после».

Но где я? Что со мной? Что это за маленькая высокая комната с темным кругом на потолке? Какая-то таблица висела на стене, два одинаковых темно-красных комода стояли рядом, покрытые одной довольно грязной накидкой с кистями, – значит, я не в больнице? И не дома?

Я хотела привстать, оглядеться, но в эту минуту где-то очень близко за стеной раздались шаги и что-то тяжелое стало толкаться о стены. С медленно бьющимся сердцем я долго слушала эти удаляющиеся, тяжело переступающие шаги. Огромный зверь вроде мамонта, которого я видела в «Природоведении» у Лельки Алмазовой, представился мне, и я почти увидела, как он спускается с лестницы, упираясь в стены боками.

Шаги умолкли, и с другой стороны, за стеной, послышались скрип пера и долгое невнятное бормотанье. Я прислушивалась, переставала, снова прислушивалась – все скрипело да скрипело перо, кто-то грустно бормотал за стеною.

Но самое главное заключалось в том, что в этой комнате я была не одна.

Он был совсем другой, чем вчера, – я еще не знала, что меня чуть живую привезли в этот дом не вчера. Тогда под тенью козырька у него было острое, злое лицо. А сейчас – доброе и веселое, как у ангела на картинке, которую мадам Гутман, хозяйка писчебумажного магазина, бесплатно выдавала всем, кто покупал у нее больше чем на пятьдесят копеек.

Подложив под щеку ладонь, скорчившись так, что подбородок упирался в колени, он крепко спал в старом кожаном кресле у моего изголовья. Он спал, хотя было утро или день и яркое солнце смотрело в окно, освещая странные домики с многоэтажными крышами, изображенные на выгоревших обоях.

Мне было трудно дышать, какие-то твердые бинты с палками на груди мешали мне, я не могла даже подняться на локте. Но я все-таки поднялась. Я долго разглядывала его. Он неслышно дышал, и вокруг было так тихо, как будто дом был заколдован и все остановилось в этой солнечной, однообразной тишине, прерываемой лишь скрипом пера да сонным бормотаньем за стеною. К счастью, мамонт больше не спускался с лестницы, хотя теперь мне даже немного хотелось, чтобы он спустился еще раз.

Зато я сама куда-то спускалась, очень медленно – как будто даже нарочно так медленно, чтобы не было страшно...

Когда я очнулась или проснулась снова, был уже вечер, потому что пагоды на стене – я потом узнала, что эти здания с многоэтажными крышами называются «пагоды», – были красными от заходящего солнца. Два голоса спорили надо мной, и, прежде чем совсем открыть глаза, я несколько раз приоткрывала их и опять закрывала.

– Мало того что ты чуть не утопил мальчика из прекрасной семьи, – сердито говорил женский голос, – теперь еще эта история, о которой говорит весь город! Имей в виду, что

больше я не ударю пальцем о палец! Расхлебывай сам эту кашу. Тебя исключат...

Вот тут я в первый раз широко открыла глаза. Я увидела полную даму в пенсне, которая, гордо закинув голову, смотрела куда-то мимо меня. У нее была старомодная твердая прическа с валиком – таких уже давно никто не носил, и мне показалось, что все на ней такое же твердое, как эта прическа, – юбка до земли, шнурок от пенсне. Даже боа (она была почему-то в боа), которому по природе полагается быть мягким, тоже как-то твердо лежало на ее полных плечах. Давешний гимназист, улыбаясь, стоял у меня в изголовье.

– Мамочка, честное слово, не стоит так волноваться! В крайнем случае переведут куда-нибудь... И еще лучше! На пари – золотая медаль!

– Не переведут, а исключат.

– Однако Раевского не исключили.

– У Раевского отец – директор банка.

– Тем более! Неудобно же его оставить, а меня исключить.

Полная дама сняла пенсне, и я увидела, что ее близорукие глаза были полны слез.

– Да что говорить, – сказала она и безнадежно махнула рукой. – Никогда я не думала, сколько будет горя с тобой. И так бьешься как рыба об лед, только и думаешь, как бы вытянуть вас, а ты...

Она хотела уйти, но гимназист обнял ее, даже не обнял, а обхватил сверху, потому что оказалось, что она ему едва

по плечо.

– Конечно, плохой, что же делать? – с нежностью сказал он. – Но ведь я же слово дал, вы об этом забыли? Если Таня поправится...

Я смотрела на него через щелки век, но, когда он сказал «Таня», поскорее снова закрыла глаза.

Они еще спорили, но я больше не слушала их. Мне стало так страшно, что я не поправлюсь, что я даже сжала колени и положила ладони на грудь. Нужно было сделать что-нибудь – встать или крикнуть.

– Мамочка!

Полная дама вздрогнула и бросилась ко мне:

– Очнулась? Таня, милая! Очнулась?

– Очнулась? – дрожащим голосом спросил гимназист.

Он выбежал, и из комнаты в комнату стало передаваться: «Очнулась, очнулась!» Сперва переспросил высокий мальчишеский голос, потом старческий – кажется, тот самый, который только что бормотал за стеной. Залаяла собака, захлопали двери, и старик в длинном сюртуке, в измятых штанах, засунутых в огромные боты, вошел и, опираясь на две палки, остановился в дверях.

Я снова закричала:

– Мамочка!

Все стало сдваиваться перед глазами, домики с многоэтажными крышами снялись со стен и рядами стали уходить от меня.

Полная дама взволнованно сказала кому-то: «Полотенце!» – и, называя мою мать по имени-отчеству – это поразило меня, – послала кого-то за ней. Страшный старик, тяжело опираясь на палки, подошел к моей постели и не сел, а свалился в кресло. Он взял меня за руку и стал прислушиваться, глядя прямо в мое лицо грустными глазами. И все на цыпочках вышли.

Возможно, что он поил меня с ложечки какой-то жидкостью, довольно приятной на вкус, которую непременно нужно было выпить – так он сказал, – чтобы пришла моя мама. Я послушалась, и правда – мама пришла, и я, как всегда, немного огорчилась, что у нее такие черные, провалившиеся глаза и такая морщинистая, худая шея.

Я сказала ей:

– Мама, возьми меня домой.

Она поцеловала меня и стала говорить, что теперь – скоро, а прежде нельзя было, доктор не велел. Я уснула, держа ее руку в своей.

О чем рассказал Андрей

Мальчик лет тринадцати в гимназической серой рубашке неторопливо подошел ко мне, когда я очнулась. Он был чем-то похож на давешнего гимназиста, и я подумала, что они, наверное, братья. У того были веселые серые глаза, а у этого тоже серые, но тяжелые, с ленивым выражением.

– Тебе нужно что-нибудь? – спросил он. – Хочешь чаю?
Я покачала головой.

– Ничего не ела целый день, – медленно сказал мальчик. – Ну, хлеба с маслом? Съешь, пожалуйста, а то мне неприятно, что ты голодная.

Я сказала:

– Потом.

– Ладно. – Он подумал. – А теперь вот что: ты имей в виду...

Он смотрел прямо на меня – даже не смотрел, а разглядывал, – и так внимательно, что мне стало неловко.

– Ты имей в виду, что все это вранье.

– Что вранье?

– А вот что мать говорит, что она к тебе привязалась. Она твоей матери сказала, я слышал. Это невозможно хотя бы потому, что ты все время была без сознания. К тебе можно было так же привязаться, как к бревну. Она это утверждает, чтобы твоя мать не подняла шуму. То же самое и насчет прогимназии.

– Какой прогимназии?

– Когда ты поправишься, – задумчиво продолжал мальчик, – она обещала отдать тебя в прогимназию Кржевской.

– Меня? В прогимназию Кржевской? – Я открыла рот, чтобы не задохнуться от счастья, и поскорее положила руку на грудь. Я буду ходить в коричневом платье с черным передником, носить книги на левой руке, учить уроки, полу-

чать отметки...

– Твоя мать портниха?

– Да.

– Значит, ты бедная?

Я пробормотала:

– Не знаю.

– Наверно, бедная, если даже не можешь поступить в прогимназию Кржевской. Мы тоже бедные, хотя мать почему-то не хочет в этом сознаться.

Он помолчал.

– Тебе интересно, что происходит в душе?

Я сказала, что интересно.

– Один день я совершенно не врал. Кажется, что это очень мало. А на деле – много, потому что большинству людей приходится врать буквально на каждом шагу. Например, ты утверждаешь, что не хочешь чаю. Это вранье из вежливости. Ты вежливая и поэтому врешь. Бывает вранье от гордости, страха и так далее. Я составил таблицу – видишь, висит на стене. Я тебе ее потом объясню.

Он вышел и через несколько минут принес мне стакан чаю и два сухаря.

– Да, здорово тебе досталось, – сказал он, поставив чай и сухари на комод (так, что я все равно не могла их достать) и забираясь в кресло с ногами. – Просто чудо, что ты осталась жива. Очевидно, крепкий организм. Он трое суток возле тебя просидел.

– Кто?

– Митька. Сам чуть не умер. Возможно, что он тебя жалел, раскаивался. Но, по-моему, он боялся не того, что ты вообще умрешь, а того, что, если ты умрешь, его отправят на каторгу или в арестантские роты. Впрочем, полной уверенности у меня нет, так что пока ты думай что хочешь.

Я помолчала. Мне было приятно, что он так серьезно со мной говорит.

– У меня мать боится городских, – снова сказал мальчик. – Это странно, потому что она ни в чем не виновата. Но, видя городского, она становится очень любезной, чего не бывает почти никогда. Она их подкупает.

– Зачем?

– Они приходят с протоколами на Митьку, и она каждый раз дает им по рублю. В среднем это выходит по пяти рублей в месяц. Но, конечно, то, что он тебя чуть не убил, обойдется дороже... Это уже бенефис. Ты застрахована?

Я не знала, что такое «застрахована», но на всякий случай сказала, что да.

– Тогда придется еще и твою страховку платить.

Он увидел чай и сухари на комодe, и у него стало расстроенное лицо.

– Ах так? – сказал он и правой рукой стал закручивать кожу на левой. Он ущипнул себя, изо всех сил закрутив кожу. – Не удивляйся, – добавил он и улыбнулся, хотя я видела, что ему очень больно. – Это я отучаюсь. Понимаешь?

– Нет.

– От рассеянности.

Он взял чай с комода и поставил на стул, у моей постели.

– Пей, пожалуйста. Что тебе еще принести? Ты ведь теперь можешь жевать?

– Могу.

– Вот и хорошо. Я тебе еще принесу хлеба с маслом.

Вот что рассказал мне Андрей – так звали этого мальчика. Оказывается, когда Митя выстрелил в меня, я так закричала, что ему потом чудился этот крик до утра. Они подбежали ко мне, но долго не могли понять, что случилось, пока не заметили, что у меня на груди платок весь мокрый от крови. Раевский предложил отправить меня в больницу, но Митя сказал: «Я это сделал, я и буду отвечать» – и повез меня к Агнии Петровне, к той полной даме в пенсне, которая была, как я потом узнала, матерью Андрея и Мити.

– Но возможно, что как раз наоборот, – заметил в этом месте Андрей. – Он боялся, что придется отвечать за тебя, и именно поэтому настоял, чтобы тебя не отправляли в больницу.

Так или иначе, но меня привезли в этот дом, когда я уже почти не дышала. Агния Петровна чуть не сошла с ума. Митя тоже был в таком отчаянии, что пришлось отнять у него револьвер, чтобы он не покончил с собой.

Главный врач военного госпиталя, которого он разбудил

в два часа ночи и от которого не ушел, пока этот врач-генерал не согласился поехать, сказал, что меня нельзя трогать с места. Он сказал, что я все равно, вероятно, умру, но если меня начнут таскать, то я умру очень скоро. Пуля прошла очень близко от сердца, к счастью навывлет, и только слегка задела что-то такое, без чего совсем нельзя жить, даже десять минут.

И вот меня уложили, а Митя уселся подле моей постели и не уходил трое суток, пока наконец сама Агния Петровна не уговорила его отдохнуть.

Несколько раз мне было совсем плохо. Тогда Агния Петровна плакала и говорила, что Мите обеспечены арестантские роты. Мою мать она всячески стремилась подкупить – во-первых, деньгами, а во-вторых, прогимназией Кржевской. Но мать не понимала, чего от нее хотят, и бессмысленно уверяла, что я все равно поправлюсь. «Бессмысленно» – так сказал Андрей, но я-то поняла, что совсем не бессмысленно, а потому, что она гадала на меня и вышло, что я поправлюсь.

Глаша Рыбакова тоже приходила ко мне, но Агния Петровна ее не пустила.

– А кто эта Глаша Рыбакова?

– Да, ведь ты не знаешь, – сказал Андрей. – Это барышня, в которую влюблены Раевский и Митя.

Глаша была гимназисткой восьмого класса. Она была красавица, но Агния Петровна не хотела, чтобы Митя женился

на ней, во-первых, потому, что ее родители были какие-то темные люди, а во-вторых, потому, что у нее брат «зачитался» и его отправили в сумасшедший дом. Зачитался – это означало, что он прочел больше книг, чем могла переварить его голова. Но Агния Петровна утверждала, что это только предлог, а на самом деле все Рыбаковы идиоты. Об этом она часто спорила с Митей, и однажды Андрей слышал, как Митя сказал, что он все равно женится на Глашеньке, потому что иначе у него будет «кукольный дом». А Агния Петровна сказала, что для Мити Ибсен важнее, чем мать. Ибсен был писатель, в которого Митя верил как в бога и который, оказывается, написал пьесу «Кукольный дом».

Все это было очень интересно, хотя я и не все поняла. Красавица – вот что меня поразило! Как наяву, я увидела ее с распущенными белокурыми волосами, в бальном платье с белым атласным корсажем. Таких красавиц я видела на новогодних открытках.

– А она знала, что они собираются драться?

Оказывается, знала. Один из секундантов заехал к ней накануне, но она засмеялась и сказала, что она тут вообще ни при чем.

– Это подло, правда? – спросил Андрей, подумав.

Я согласилась, что подло.

Что же произошло после этой дуэли? Ничего особенного! Исправник вызвал Агнию Петровну, и если бы у него не стоял на прокате самый лучший концертный рояль, за который

он уже целый год ничего не платил, Митя был бы выслан в уезд. При чем тут концертный рояль – это было не очень-то ясно! Но Андрей не стал объяснять, а я только подумала и не спросила.

«Депо проката роялей и пианино»

«Депо проката роялей и пианино» – вот как назывался этот дом, в котором я лежала и поправлялась, хотя врач-генерал объявил, что я непременно умру. Я и прежде знала, что в нашем городе существует такое депо. Это была первая вывеска, которую мне удалось самостоятельно прочесть, и я на всю жизнь запомнила большие белые буквы с веселыми хвостиками на ярко-зеленом фоне. Правда, мне казалось, что в этом депо, так же как и в пожарном, должна быть вместо лестницы дырка со столбом, по которому можно мгновенно спуститься вниз в случае тревоги. Но хотя дырки не оказалось, все-таки это был не совсем обыкновенный дом, навсегда оставшийся для меня именно «депо», то есть местом, где все происходит неожиданно и ничего нельзя предсказать. Неожиданно, например, за стеной появлялись мамонты, спускались и поднимались по лестнице – это грузчики таскали вверх и вниз тяжелые инструменты.

Кстати, это стало одним из воспоминаний моего детства: крики на лестнице: «Тащи, заходи!» – и беспомощно плывущий по воздуху рояль, похожий на какое-то животное, у

которого только что отрубили ноги.

Я провела у Львовых шесть недель. Но все, что я увидела и услышала в «депо», было так ново для меня, что эти шесть недель еще и теперь кажутся мне чем-то очень долгим, интересным и стоящим как бы отдельно от того, что случилось потом. Конечно, мне запомнилось только самое главное, то, что поразило меня, когда врач позволил мне вставать. Я обошла всю квартиру и в каждой комнате нашла самое главное, а уже за ним, в отдалении, нарисовалось – и рисуется до сих пор – все остальное. Таким самым главным в комнате Андрея, где я лежала, отгороженной двумя комодами и полинялым ковром от столовой, была «таблица вранья», на которой он каждый вечер отмечал, сколько раз ему пришлось соврать и по какой причине.

Посреди таблицы шла зигзагами синяя линия – «кривая», как объяснил мне Андрей. При помощи «кривой» он определял силу и зависимость вранья от различных обстоятельств жизни. Таблица висела над изрезанным столом, который был завален тетрадками – не Андрея, а Мити и вообще старшего поколения, учившегося в той же Лопухинской гимназии. Эти тетрадки тоже поразили меня. Все, что угодно, можно было найти в них: и труднейшие алгебраические и геометрические задачи с решениями, и письменные работы по латыни, и русские сочинения на любую тему. Не только Андрей, но весь его 4-й класс «Б» списывал с этих тетрадок. Это называлось «заглянуть к Шнейдерману». Шнейдерман

был старший брат одного из Митиных товарищей и учился давно, лет десять назад. У него все было правильно решено, а по домашним сочинениям всегда стояло не меньше «четыре с плюсом».

В столовой самым главным для меня был портрет белокурого молодого человека с бородой и усами, в таком высоком стоячем воротнике, что сразу становилось ясно, почему у молодого человека такой растерянный, полузадушенный вид. Андрей сказал, что это «шарж на отца», то есть что художник нарочно нарисовал отца в смешном виде, чтобы друзья и знакомые подсмеивались над ним. Отец Андрея и Мити был известный адвокат, которого в Киеве черносотенцы убили камнем, когда он ехал из суда в открытой пролетке. После этого Агния Петровна с детьми уехала из Киева и поступила к фабриканту Юлию Генриху Циммерману, который открыл в Лопакхине одно из своих «депо». Дом, в котором помещалось «депо», принадлежал Циммерману, и за свою квартиру Агния Петровна тоже платила ему.

В Митиной комнате самым главным была лежавшая на столе запаянная стеклянная трубка, о которой Андрей сказал, что это яд кураре и что одной капли этого яда достаточно, чтобы отравить сто семьдесят шесть человек. А сто семьдесят седьмой уже не умрет, но на всю жизнь останется инвалидом. Тут же он добавил, что, вероятно, это вранье и что в данном случае Митя врет «из желания порисоваться». Я не знала, что такое «желание порисоваться», и решила, что

Митя просто хочет, чтобы его нарисовали. Таким образом, от меня надолго ускользнула таинственная связь между ядом кураре и этим невинным желанием.

Кроме яда кураре, у Мити на столе стояли пепельница из черепа и красная голова какого-то старика с острой бородкой и разлетающимися бровями.

Андрей сказал, что это бес Мефистофель и что он выведен в знаменитой опере «Фауст». На лысой голове Мефистофеля, на бородке и даже на носу было множество надписей и изречений – некоторые очень странные и запомнившиеся мне навсегда. На носу было написано: «Гений или безумство!» Я спросила у Андрея, что такое гений, и он ответил, что гений – это, например, Шнейдерман.

В комнате Агнии Петровны самым главным было то, что комната была красная. Обои, гардины, кушетка с двумя низенькими пуфами по бокам, ковер над кушеткой, абажур на толстых шнурах – все было красное или розовое, но розовое лишь потому, что выгорело на солнце. Это было устроено очень давно и не для Агнии Петровны, а для ее сестры, которая никак не могла выйти замуж. По мнению Андрея, у нее была «отталкивающая внешность». Но на фоне этой красной комнаты ее внешность уже не так отталкивала, так что в конце концов один пожилой ветеринарный врач сделал ей предложение. И сестра уехала, а комната так и осталась красной. Андрей сказал, что если в эту комнату поместить быка, он сначала взбесится, а потом увидит, что абсолютно

все красное, и станет смиренным, как теленок.

Комнату, которая находилась рядом со мной, занимал родной брат Агнии Петровны, дядя Павел, который так напугал меня, когда я очнулась. Он был больной и очень старый, чуть не на двадцать пять лет старше Агнии Петровны. Это он постоянно скрипел пером и бормотал за стеной. Но когда я присмотрелась к нему, мне показалось, что он не такой уж страшный. Стуча своими двумя палками, согнувшись пополам, он ходил по дому.

Дядя Павел был доктором, но уже давно почти никого не лечил. Зато он писал, и стоило заглянуть к нему в комнату, чтобы убедиться в том, что это у него получалось прекрасно. Вся комната была завалена бумагой, исписанной отчетливым мелким почерком – каждая буква отдельно. Под столом, на окнах, на шкафу – всюду лежали журналы, из которых торчали закладки. Он писал «труд», как сказал мне Андрей.

Все у Павла Петровича было ветхое и старомодное: ковровое кресло с выдвижной скамейкой для ног, столик для курения, висевшая над постелью выцветшая малиновая скатерть, оклеенная голубыми раковинками туфля для часов и очень много фотографий, на которых была одна и та же красивая дама – то в бархатном платье с длинным шлейфом, то в шлеме и латах, то в русском национальном костюме. Сам доктор тоже был снят – еще совсем молодой, с бородой и усами, с цилиндром в руке и в белом жилете.

В комнате было два окна с широкими подоконниками. На

одном стоял прибор, о котором Андрей сказал, что это микроскоп, вроде подзорной трубы, но подзорная труба увеличивает в сто раз, а микроскоп – в тысячу. На другом подоконнике было много стеклянных трубочек, заткнутых ватой, и в старом, треснувшем стакане постоянно лежало что-нибудь заплесневелое – кусочек сыру или апельсинная корка. В комнате всегда немного пахло плесенью, и от самого Павла Петровича – тоже.

Такая же ветхая, как и все в этой комнате, фисгармония стояла в углу. Иногда доктор играл на ней, и тогда фисгармония начинала вздыхать, как будто она была живым существом, которому нужно было набрать воздуха, чтобы не задохнуться.

Скоро домой

Мама приходила ко мне каждый день, одетая нарядно, в кашемировой шали, которую она надевала только по праздникам или когда шила у Батовых – был в Лопяхине такой богатый купеческий дом.

Мне не нравилось, что, когда входила Агния Петровна, мама начинала говорить о забастовках на кожевенном или о том, что в Германии тоже голод, так что запрещено крахмалить белье, и Вильгельм II лично приказал чистить не сырой, а вареный картофель. Вообще что-то изменилось в маме за те дни, что я лежала у Львовых. Казалось, она была еще

чем-то глубоко расстроена – не только тем, что случилось со мною.

Я думала об этом, а потом забывала.

Мне было некогда – просто не запомню, когда еще я была так занята! Андрей дал мне книгу «Любезность за любезность», я читала ее каждый день и каждый день узнавала такие вещи, которые прежде не могли мне даже присниться.

Суп, оказывается, нужно было есть совершенно бесшумно, причем ложку совать в рот не сбоку, а острым концом. Подливку не только нельзя было вылизывать языком, как я это делала постоянно, но даже неприличным считалось подбирать ее с тарелки при помощи хлеба. Пока девушка не замужем, она по возможности не должна выходить со двора одна или с двоюродным братом. Нельзя было спросить: «Вам чего?», а «Извините, кухня, я не поняла», или: «Как вы сказали, дедушка?» В спальне молодой девушки все должно, оказывается, дышать «простотой и изяществом». С родителями – вот это было интересно! – следовало обращаться так же вежливо, как и с чужими. Дуть на суп нечего было и думать, но зато разрешалось тихо двигать ложкой туда и назад для его охлаждения.

Но больше всего меня поразило, что при всех обстоятельствах жизни девушка должна быть «добра без слабости, справедлива без суровости, услужлива без унижения, остроумна без едкости, изящно-скромна и гордо-спокойна».

Я представляла себе жизнь по книге «Любезность за лю-

безность»: муж в крахмальном воротничке сидит и читает газету; дети тоже сидят и молчат, потому что за столом, кроме «мерси», дети не должны произносить ни слова; никто не сопит, не зевает, не хлебает громко и не дует на суп. Вдруг приносят телеграмму: неприятное известие – мы разорены. Я читаю и остаюсь изящно-скромной и гордо-спокойной.

Да, это была интересная книга, хотя она надолго отравила мне жизнь: почти полгода я не могла двинуть ни рукой, ни ногой, не вспомнив прежде, что советует по этому поводу «Любезность за любезность».

Но, конечно, не только эта книга заставила меня на время совершенно забыть свою прежнюю жизнь.

Прежняя жизнь – это был трактир Алмазова, в котором однажды я полдня простояла на коленях за пятнышко на столовом ноже. Это были поздние возвращения домой, сперва очень страшные и тоскливые, а потом привычные и все-таки страшные, особенно когда я поднималась на Ольгинский мост и картина бедного посада, раскинувшегося между рекой и полем, издалека открывалась передо мной. По крутой обледеневшей лестнице я спускалась на набережную, и голые, черные тополя встречали меня глухим звоном ветвей.

Прежняя жизнь – это была наша комната в доме «лично-почетного гражданина Валугева» (как было написано на доске у ворот), в деревянном двухэтажном доме с такими тонкими перегородками, что мы с мамой привыкли шептаться, хотя нам нечего было скрывать от соседей. Как я ни была

мала, но уже тяготилась знанием всего, что каждый час происходило в доме.

Прежняя жизнь – это была, например, Лелька Алмазова, которая, возвращаясь после уроков, нарочно проходила мимо меня со своей круглой заячьей муфточкой на шнурах, муфточкой, которая так нравилась мне, что один раз мне даже приснилось, что я ее съела. Лелька была дочерью хозяина и училась в прогимназии Кржевской.

Да мало ли чем еще была эта прежняя жизнь!

Так или иначе, она волшебным образом оборвалась в то мгновение, когда, сказав: «А, черт с тобой!» – высокий гимназист в сдвинутой на лоб фуражке направил на меня револьвер.

Оборвалась, и я нисколько не жалела об этом. Напротив, с тоской думала я о том, что пройдут две или три недели, и все это – трактир Алмазова, тополя, мамин шепот и ее непонятные слезы по ночам, – все начнется снова, а то, что я увидела и узнала в «депо», так и останется в «депо» навсегда. И больше всего я жалела, что не будет наших удивительных разговоров с Андреем.

Он приходил ко мне каждый день после гимназии, и я уже ждала его, хотя, конечно, не подавала виду и, когда он входил, всегда оставалась «гордо-спокойной». Книжки, стянутые ремешком, летели на пол, он усаживался в кожаное кресло и сразу начинал говорить. Когда я рассмотрела его, он оказался довольно плотным мальчиком с широкими плечами и широкой грудью. Но первое впечатление медлительности, при-

стального внимания и озабоченности чем-то таким, что для других людей не представляет интереса, сохранилось и даже стало сильнее.

В те дни, когда я поправлялась и уже начинала понемногу вставать, он был озабочен главным образом Митиными делами.

– Возможно, Митя даже не боится, что его исключат, – сказал он мне однажды, – потому что он уверен, что скоро будет революция, а после революции могут стать совершенно другие законы. У них в классе есть один монархист.

Я не знала, кто это монархист. В подобном случае полагалось «учтиво молчать». Я промолчала.

– Все остальные – эсеры, эсдеки и три кадета, – продолжал Андрей. – А монархист – один Катык. Знаешь «Гильзы Катыка»? Но это тоже вранье. Просто он хочет отличаться хоть чем-нибудь от других.

Мне захотелось спросить, зачем Катыку отличаться хоть чем-нибудь от других, но, чтобы не попасть впросак, я промолчала. Впрочем, куда больше меня интересовало другое, и, постаравшись придать своему лицу «изящно-скромное» выражение, я спросила Андрея, как он думает: женится ли Митя на Глашеньке Рыбаковой?

– Женится, – подумав, сказал Андрей. – Но для него это не имеет большого значения. Мама говорит, что это первая любовь, хотя, по-моему, не первая, потому что Митя уже несколько раз собирался жениться.

Насчет первой любви я прочитала, что она «не хочет быть подмеченной посторонним взглядом». Но это, очевидно, не имело отношения к нашему разговору, хотя бы по той причине, что насчет Митиной первой любви, о которой говорил весь город, нельзя было сказать, что она «не хочет быть подмеченной посторонним взглядом».

– Ему вообще не так легко жениться, – помолчав, продолжал Андрей. – У него ведь компания.

– Какая компания?

– Зернов, Ковалевский, Лазарев, Колышкин из «А» класса и Рубин. Эта компания на него влияет, чтобы он не женился, особенно Рубин. Но если Митя решится – кончено! Увезут.

– Кого?

– Глашеньку. Увезут на тройках в Петров, и ищи ветра в поле.

Петров был соседний городок.

– У них все за одного, один за всех. Знаешь, что у них на выпускном жетоне будет написано? «Счастье – в жизни, а жизнь – в работе». Между прочим, я почти согласен с этим девизом. Хотя что счастье – в жизни, это глупо. Несчастье – тоже в жизни. Но они таким образом выводят, что счастье – в работе. Это, пожалуй, верно. Как ты думаешь?

Я сказала, что смотря какая работа...

Самого Митю я почти не видела. С тех пор как я очнулась и главный врач-генерал объявил, что как это ни стран-

но, но я, очевидно, поправлюсь, Митя исчез и совершенно перестал интересоваться моей судьбой. Только раз, заглянув в мою комнату, он спросил бодрым, равнодушным голосом: «Ну, как дела, Татьяна? Вид прекрасный!» – хотя у меня не мог быть прекрасный вид, потому что я в тот день объелась стручками.

Андрей сказал, что это для него характерно.

– В данном случае ты – это прошлое, – объяснил он. – А для людей типа Мити прошлое вообще не имеет большого значения.

Мама сказала, что на днях возьмет меня домой, и каким же коротким показалось мне это «на днях» в сравнении с теми длинными, однообразными годами, которые я должна была провести в посаде Замостье. Агния Петровна подарила мне книгу – сочинения Пушкина, а маме – свое старое бальное платье из шелка дамасэ, покрытое тюлем, по которому были нашиты блесстки. Уже меня пригласили к столу и был подан обед, который никто не называл прощальным, но который все-таки был прощальным, потому что меня в первый раз пригласили к столу. Между прочим, за этим обедом я поразила весь дом своей вежливостью, ни разу не спросив: «Чего?», а говоря: «Как вы сказали, Агния Петровна?», или: «Извините, дедушка, я не поняла». На суп я, правда, подула, но сразу же спохватилась и стала двигать ложкой туда и назад для его охлаждения.

Уже Андрей спросил меня равнодушно:

– Уезжаешь?

И соврал, потому что он вовсе не был так уж равнодушен к тому, что я уезжаю.

Уже мне представилось, как я буду прощаться с пагодой на обоях, с кожаным креслом, с кругом от керосиновой лампы на потолке, на который я всегда смотрела, засыпая. В последний раз я услышу стук посуды, доносившийся из столовой, вздохи старой фисгармонии, голоса Митиных друзей, каждый вечер споривших о старшем брате Рубина – «политическом», который был арестован в прошлом году. Уже я уложилась, то есть завязала в платок две книги, рукоделие и резинку «Слон», которую подарил мне Андрей. И вдруг обо мне забыли! Весь дом, начиная с Агнии Петровны и кончая прислугой Агашей, оказался так занят, что обо мне забыли, и я осталась у Львовых еще на несколько дней.

Старый доктор

В комнате Андрея были антресоли, большая полка под потолком для хранения вещей. Время от времени Андрей приносил стремянку и доставал с антресолей «Ниву» – иллюстрированный еженедельный журнал, выходивший в СПб. с 1869 года. Эту «Ниву» Андрей решил прочитать всю и, когда я лежала у Львовых, уже дошел до 1904 года.

Но на этот раз со стремянкой явилась Агаша. Пыхтя, она

влезла на антресоли – снаружи остались торчать только толстые голые пятки – и спустилась вниз с большим чемоданом.

– Поехали в Петроград, – сказала она и ушла.

Я не очень удивилась, потому что знала от Андрея, что Агния Петровна иногда ездила в Петроград. Там жил Юлий Генрих Циммерман, которому принадлежало лопахинское «Депо проката». На некоторых роялях и пианино его фамилия была написана по-немецки. Кроме того, Агния Петровна ездила в Петроград за артистами. Она занималась устройством концертов, и в этом отношении у нее, по мнению Андрея, были большие заслуги.

В Петроград она собралась поехать за артистами – так я поняла Агашу.

Ничего подобного! Агаша вернулась, снова полезла на антресоли, на этот раз за ремнями, и, спустившись, объявила, что Агния Петровна едет к министру.

– Едем к графу-министру, – сказала она загадочно. – А там – что Бог даст. Так не оставим.

Мы с Агашей подружились за тот месяц, что я лежала у Львовых. Она была толстая, пугливая и все любила представлять в таинственном виде.

Я спросила:

– К графу или министру?

– К графу-министру, – строго повторила Агаша. – Будем жаловаться.

И она опять ушла, погрозив кому-то ремнями. Это было

интересно, хотя загадочный граф-министр существовал, разумеется, лишь в воображении Агаши. Я сунулась за нею на кухню, но она выгнала меня. Немного огорченная, я принялась за книгу. Вот кто-то постучал, Агаша открыла, и мужской голос спросил, дома ли Митя. Мити не было дома.

Вот Агния Петровна прошумела платьем по коридору, и я услышала, как она приказала Агаше звать ее, если будут спрашивать Митю, а сама торопливо вернулась к себе и закрыла двери на ключ. Что-то тревожное почудилось мне в этих быстрых шагах, хлопанье дверей, щелканье замка, даже в шуме ее тяжелого платья. Должно быть, на этот раз Митя действительно «устроил бенефис», если нужно было хлопотать за него в Петрограде.

Старый доктор вздохнул за стеной, и я вдруг решила пойти к нему – может быть, он скажет мне, что случилось?

На цыпочках я прошла через все комнаты и заглянула к нему – дверь была приоткрыта.

– Здравствуйте, дядя Павел.

Он кивнул и продолжал писать. Прежде он писал неторопливо, приставляя одну круглую буквочку к другой. А сегодня – я посмотрела – очень быстро, неразборчиво и уже поставил несколько клякс, но не обратил на них никакого внимания.

Я сказала любезно:

– Вы сегодня гуляли, дядя Павел? Мороз семь градусов, но день прекрасный.

Старый доктор поднял левую руку и помахал – очевидно, чтобы я замолчала. Я хотела уйти, но он снова помахал – очевидно, чтобы я оставалась. Я осталась. Он писал молча, с крепко сжатыми губами. Перо сломалось, он пробормотал энергично «черт!» и схватил другое.

Это продолжалось долго – так долго, что мне стало казаться, что это было всегда: старый доктор всегда сидел и писал, а я всегда смотрелась в зеркало над умывальником и строила рожи. Теперь, когда я стала худенькая и бледная после болезни, с этими скулами, большими глазами и косичками, которые в разные стороны торчали над ушами, у меня стали выходить великолепные рожи. Потом я посмотрела на доктора, на его согнутую спину. Что он пишет? О чем думает в эту минуту? Почему не хочет, чтобы я уходила? Как это странно, что я думаю об одном, а он – совершенно о другом! Я пришла, чтобы спросить о Мите, что случилось и зачем Агния Петровна собралась в Петроград. А он и не думает об этом. Он пишет «труд», и ему все равно, чем заняты Агния Петровна, и моя мама, и Агаша, и Митя. Не знаю, как передать это чувство, но в ту минуту я впервые сознательно оценила ход чужой мысли, которая стремится вперед, не обращая внимания на тысячи других маленьких мыслей, окруживших ее со всех сторон.

Наконец доктор оставил свое писание. Он снял очки, и я увидела его круглые грустные глаза с ободком вокруг цветного колечка, как это бывает у очень старых людей.

– Вот слушайте, – сказал он.

Он сказал «слушайте», как будто перед ним был весь мир, а не одна-единственная худенькая девочка с косичками, которая не поняла ни слова из того, что он прочитал. Сперва эта девочка слушала внимательно, потом устала и снова начала коситься в зеркало, с трудом удерживаясь, чтобы не состроить еще одну рожу. Потом выпрямилась, вспомнив, что нужно сидеть, не касаясь спинки стула.

А доктор все читал. Глаза его сияли, красные пятна выступили на щеках, там, где борода переходила в мягкую, симпатичную шерстку под глазами. Он спорил о чем-то и один раз, рассердившись, даже ударил кулаком по столу.

В другом месте он закинул голову и с детским торжеством взглянул на меня из-под очков. Улыбаясь, он два раза с расстановкой повторил какую-то фразу. Он лукаво прищурился, закусывал бороду, поднимал брови и умолкал, как будто ожидая от меня возражений.

Через много лет среди его рукописей я нашла эту страницу. Я узнала ее по кляксам и еще по тому, что одна из клякс была чем-то похожа на кошку. Вот что старый доктор писал о задачах науки:

«Пытаться объяснить достоверные, но кажущиеся поразительными факты как следствие других, уже давно известных. Подорвать их необычайность. Рассеять видимость чудесного. Познакомить человечество с новыми и действительно чудесными явлениями, перед которыми бледнеют мнимые чу-

деса...»

* * *

Он замолчал и, совершенно забыв обо мне, стал переделывать какую-то фразу. Я посидела еще немного и побежала к себе, потому что кто-то опять спросил Митю и Агния Петровна разговаривала с пришедшим в передней, а из моей комнаты было слышно все, что происходило там.

Это пришел Митин товарищ, Рубин, маленький, удивительно черный и умевший широко открывать один глаз, а другой в то же время закрывать без единой морщинки. Это получалось смешно. Андрей говорил, что Рубин – самый спокойный человек на свете и что он только один раз в жизни потерял равновесие: когда его старшего брата, студента, посадили в тюрьму. Старший Рубин был большевиком – об этой партии мне почти ничего не удалось узнать от Андрея.

– Приятная новость, нечего сказать, – в десятый раз повторила Агния Петровна. – Только этого еще не хватало!

– Агния Петровна, – сказал Рубин, – по-моему, это все подлец Борода.

«Борода» было прозвище латиниста.

– При чем тут Борода? Где Митя?

– Ей-богу, не знаю. Логически он должен быть дома. Но поскольку он находится под влиянием некоего алогического чувства, он может в данный момент оказаться вне дома.

– То есть он у Глашеньки? – с гневом спросила Агния Петровна.

– Возможно.

– Так вот иди к нему и скажи, что если он не явится сию же минуту...

И она сказала то, что говорила всегда: что она никуда не поедет, не ударит пальцем о палец и так далее.

Рубин ушел, в передней стало тихо, и я бесшумно приоткрыла дверь. Сквозь щелку была видна не вся Агния Петровна, но даже и по ее щеке, по руке с кольцами, которую она держала у виска, можно было заключить, что она глубоко расстроена и не знает, на что решиться. Мне захотелось сказать ей, что все обойдется, но в эту минуту опять постучали. Агния Петровна открыла, и в шинели нараспашку вошел улыбающийся, но взволнованный Митя.

– А, это ты? – странным голосом спросила Агния Петровна. – Что, доигрался?

Он перестал улыбаться, и лицо стало, как во время дуэли, напряженным и мрачным, с пристальным взглядом.

– Пойдем ко мне и поговорим, – повелительно сказала Агния Петровна. – Я сегодня еду.

И они ушли. Это было уже не просто интересно – это была какая-то тайна, и я не могла найти себе места, дожидаясь, когда Андрей вернется из гимназии и расскажет, в чем дело.

Наконец он явился. Я увидела его через кружок, который надышала на замерзшем стекле. Нос и рот у него были за-

пачканы чем-то темным, но мне и в голову ничего не пришло – так неторопливо и важно он шел. Только когда, присев на корточки, он стал прикладывать снег к лицу, я поняла, что это кровь, потому что снег сразу становился красным.

Не знаю, что удержало меня, – я едва не выбежала к нему из дому. Может быть, то, что он в это мгновение оглянулся – наверное, не хотел, чтобы кто-нибудь видел, как он сидит у крыльца и прикладывает снег к разбитому носу.

Но вот он постучался. Агаша открыла, и, отвернувшись от нее, он быстро прошел в комнату Мити. Я сразу побежала за ним, постучалась, позвала. Не тут-то было!

– Кто там?

– Это я! Таня!

– Приходи через час, – сказал Андрей. – Или вот что: приходи завтра.

Загадка

Сани стояли у подъезда, заиндевевшая лошадь была похожа на косматого яка в оглоблях, и, хотя кружок на стекле замерз, я все-таки узнала по крупной, полной фигуре, спускавшейся с крыльца, Агнию Петровну, а в тонкой и высокой – Митю, выскочившего без шинели. Извозчик отстегнул полсть, Митя подал ему чемодан, и Агния Петровна села, подняв плечи и держась очень прямо, как будто была привязана к невидимой палке. Сани тронулись, и у крыльца все

стало как пять минут назад: тишина и снежинки, заметные, лишь когда они пролетали через полосу света...

В «Любезности за любезность» не было ни слова насчет того, как поступить, если мальчику разбили нос и он невежливо сказал знакомой девочке: «Приходи завтра».

Но там был интересный совет: «В затруднительных случаях ставь себя на место того, с кем ты находишься в тех или других отношениях». Я поставила, и получилось, что, если бы мне разбили нос, я бы тоже не вышла из своей комнаты, и не день или два, а может быть, неделю. Поэтому на другой день, подождав для приличия, пока Андрей умоется и позавтракает – было воскресенье, и он встал очень поздно, в десятом часу, – я зашла к нему и поздоровалась, как будто ничего не случилось:

– С добрым утром!

Он поднял глаза от книги и тоже сказал:

– С добрым утром!

Мы помолчали. Потом я спросила, что он читает.

– Нат Пинкертон. «Злой рок шахт Виктория».

– Интересно?

– Очень.

Мы опять помолчали. Нос у него порядочно распух, и я не знала, что вежливее – спросить про нос или сделать вид, что я ничего не замечаю. Но Андрей сам решил эту задачу, и, как всегда, очень просто.

– Очевидно, тебе хочется спросить, отчего у меня распух

нос? – спросил он серьезно.

Я сказала, как дура:

– Да.

– Мне его разбил Валька Коржич.

– Ну?

Коржича я немного знала. Это был беленький, хорошенький мальчик, о котором Андрей говорил, что с ним интересно, потому что у него сильная воля. Он приходил списывать «у Шнейдермана» алгебру.

– Из-за Мити, – продолжал Андрей. – Ты знаешь, что его исключили с волчьим билетом?

И он объяснил, что теперь Митя не может поступить ни в одно казенное учебное заведение, а только в частное, и придется давать огромную взятку, потому что в свидетельстве за семь классов будет сказано, что он исключен с волчьим билетом. Мать поехала в Петроград.

– Зачем?хлопотать?

Андрей кивнул.

– Чтобы отменили волчий билет?

– Да.

Мы опять помолчали. Мне хотелось спросить, при чем тут Коржич и за что он разбил Андрею нос. Но я чувствовала, что не следует торопиться.

– Вообще это неправильно, что его исключили с волчьим билетом. Я говорю не как брат, а как посторонний. Директор сам сказал, что Митя талантливый, но что нельзя все-

гда отыгрываться на таланте. А по-моему, можно. Например, Юлий Цезарь в детстве был хулиган, а потом всю жизнь отыгрывался на таланте.

Я сказала:

– Безусловно.

Он замолчал и грустно потрогал нос, – наверно, ему еще было больно.

– Но главное, понимаешь, заключается в том, что Митя считается неблагонадежным. Например, все знают, что он дружил со старшим Рубиным, которого в прошлом году забрали. Потом Борода один раз нашел у него в парте запрещенную книгу. Словом, здесь политическая подкладка.

И Андрей рассказал, что скоро должна произойти революция, и поэтому, что бы ни случилось, все сразу смотрят – это «за» революцию или «против». Митя написал сочинение о причинах упадка Римского государства, и все поняли, что под Римским государством подразумевалось наше – значит, «за». Директор вызвал Агнию Петровну и швырнул ей это сочинение – «против». На кожевенном заводе рабочие забастовали, и восьмой класс устроил в их пользу сбор – «за». Исправник приказал задерживать «всех лиц, виновных в возбуждении обывателей, стоящих в очереди за съестными продуктами», – «против». Митю исключили за политическую неблагонадежность – тоже, разумеется, «против».

На заседании педагогического совета победили «правые», вот почему с Митей расправились так беспощадно. А «ле-

вые» остались в меньшинстве. Правда, Раевского тоже исключили, но ему наплевать, потому что он едет в Петроград и поступает в Училище правоведения, а это еще выше гимназии.

Все это было очень сложно, но, в общем, понятно. Однако Андрей рассказывал с таким выражением, как будто эта борьба имела отношение к его разбитому носу, – вот это было уже непонятно! Я послушала еще немного, а потом спросила:

– А Коржич?

– Ах да! – сказал Андрей и крепко ущипнул себя за левую руку. – Совсем забыл! Мы подрались из-за его старшего брата.

– Из-за его старшего брата?

– Ну да. У него есть старший брат, который тоже против Мити, потому что Митя чуть не утопил его прошлым летом. Я сказал, что это нечестно, и мы подрались. Но потом я пожалел, что мы дрались, потому что Валька все-таки «левый». А его брат – «правый». В общем, все-таки жалко, что мама уехала, – неожиданно сказал Андрей. – Когда она уезжает, это всегда кончается более или менее плохо.

В самом деле, на другой день после отъезда Агнии Петровны все изменилось в «депо». К Агаше с утра пришли гости – между прочим, жандарм с женой, о котором я еще расскажу. Водки не было, но жандарм принес ханжу и расска-

зал, что в Петрограде не хватает соли, сахара, мяса, муки, дров и керосина.

Старый доктор забыл, обедал он или нет, и очень удивился, когда я ему сказала, что нет. Но все это были пустяки в сравнении с пакетами, которые принесли Митины товарищи Зернов и Рубин.

Первым принес пакет Ваня Зернов, о котором Андрей говорил, что он безумно богат, потому что у его отца «Мясная, зеленная и курятная». Он долго хохотал и топал в Митиной комнате, а потом, хватаясь за живот, вывалился из дверей как раз в ту минуту, когда я совершенно случайно проходила мимо. Дверь сразу захлопнулась, но я успела заметить, что Митя стоит перед зеркалом в каком-то странном наряде: на нем были широкие короткие штаны, из которых торчали длинные ноги, и пиджак, надетый на голое тело.

Потом пришел Рубин, тоже с пакетом. Раздеваясь, он положил его на стул, а мне нужно было посмотреть, где стоят мои калоши в передней, и я совершенно случайно толкнула этот пакет. Он упал мягко и развернулся. Я вскрикнула вежливо:

– Ах, виновата!

И бросилась поднимать пакет. В нем тоже был пиджак и что-то белое, манишка или рубашка, и ото всего этого сильно пахло нафталином. Рубин оттолкнул меня и сам поднял пакет. На пороге он обернулся и один глаз закрыл без единой морщинки, а другим посмотрел на меня – мне показалось,

что с подозрительным выражением.

Это была загадка! Новые взрывы хохота донеслись из Митиной комнаты – залиvistого, от всей души. Это смеялся Рубин.

Минут двадцать спустя он унес сверток.

Я слышала, как он ругал «бабье, которому приходят в голову нелепые мысли», и Митя не возражал, только спросил с отчаянием:

– Что же делать?

Я даже вспотела – так напряженно думала о том, что это значит. Конечно, я могла бы спросить у Андрея, но мне смертельно хотелось догадаться самой.

Может быть, в Дворянском собрании бал? Но в Лопахине никогда не бывало больше одного бала в году, и этот единственный бал состоялся на днях.

Может быть, Митя хочет пойти к директору на дом в новом костюме и дать ему в морду? Он ненавидел директора, и я сама слышала, как он кричал Агнии Петровне, что на выпускном акте откажется подать ему руку. Да, это было самое вероятное! Я никогда не видела директора, но мне представился коротенький толстяк с красным лицом вроде нашего посадского пристава, и этот толстяк спрашивает: «Чем могу служить?» А Митя, очень бледный, с мрачным пристальным взглядом, подходит и бьет его сверху.

Эта мысль так взволновала меня, что я не выдержала и побежала к Андрею.

Он уже кончил «Злой рок шахт Виктория» и читал толстую книгу «Новый метод лечения».

– Значит, штаны были короткие? – спросил он, когда я рассказала ему эту загадочную историю.

– Да.

Он подумал.

– Немного ниже колен?

Я была поражена.

– Откуда ты знаешь?

– Я сделал заключение, – сказал Андрей. – В самом деле, откуда Зернов мог взять штатский костюм? Он стащил его у отца. А отец у него маленький, немного больше двух аршин. Но вообще это нечто такое, что стало возможно, только когда уехала мама. Вчера мама была дома, и никаких костюмов сюда никто не таскал. Следовательно, это подготовка к тому, чего при маме Митя сделать не мог.

Я согласилась.

– Теперь подумаем, зачем Митьке штатский костюм? Может быть, теперь, когда его выгнали из гимназии, он решил выступать?

– Как выступать?

– А разве ты не знаешь, что он семь лет учился играть на скрипке? Но потом бросил, потому что мама повезла его в Петроград и знаменитый скрипач Кубелик сказал, что у него не хватает слуха.

И он стал доказывать, что это вполне возможно; подоб-

ным способом Митя мог бы убить двух зайцев: во-первых, показать презрение к «правым», во-вторых, прекрасно зарабатывать. Кстати, за последнее время «депо» почти не приносит дохода, и Юлий Генрих Циммерман уже грозился, что уволит маму, и тогда ей останется только поступить учительницей музыки в прогимназию Кржевской.

Так мы и решили: Митя будет «выступать». Я немного расстроилась, а Андрей ничуть. Впрочем, вскоре выяснилось, что мы понимали под этим словом разные вещи: он думал, что Митя будет давать концерты вроде Мозжухина или Шаляпина в Дворянском собрании. А я решила, что Митя будет ходить по дворам и играть на скрипке, а потом обходить всех с шапкой и дворники будут его гнать, а из открытых окон ему будут бросать пятаки, завернутые в бумагу. Поскольку Кубелик не нашел у него слуха, такое будущее казалось мне вполне вероятным.

Свидание

Все стало ясно для меня после этого разговора: Митя готовится к концерту. И когда я услышала – впервые за время, проведенное у Львовых, – что он играет на скрипке, я совершенно успокоилась и пошла погулять на дворе.

Это было второй или третий раз, что я выходила после выздоровления. Закутанная в три платка, похожая на бабушку – поверх платков Агаша еще накинула на меня большую де-

ревенскую шаль, – я немного постояла у заднего крыльца, а потом тихонько обошла вокруг дома.

Когда впервые после болезни я вышла на двор и увидела крепкий снег, скрипящий под ногами, и высокое зимнее холодное небо, мне стало тоскливо, и я сразу же запросилась домой. Теперь я привыкла и гуляла с удовольствием, тем более что у Львовых был интересный двор. У них во дворе стояли ящики от роялей и пианино, так что можно было прятаться, играть в «казаки и разбойники» и придумывать, что ящики – это города. Гимназисты, удрав с большой перемены, отсиживались в этих ящиках, играя в карты, чтобы время не пропало даром.

Сейчас на дворе было пусто, и, побродив среди ящиков, я собралась домой, когда за калиткой показалась барышня в беленьком полушубке. Полушубок был хорошенький, обшитый мехом на рукавах и внизу, и барышня тоже хорошенькая: в этом я убедилась, когда, недолго постояв, она распахнула калитку и нерешительно перешагнула порог. Она была нежно-румяная, с большими глазами и какая-то хрупкая – это я почувствовала, когда, разговаривая со мною, она сняла рукавичку и стала поправлять волосы, которые выбились из-под меховой шапки вроде папахи.

– Девочка, ты здесь живешь?

– Да.

– А как тебя зовут?

– Таня.

Вот тут она сняла рукавичку и поправила волосы. Она волновалась. Вдруг она бросилась ко мне:

– Таня! Ты – Таня! Ну как ты?! Поправилась? Ты выходишь?

Я сказала любезно:

– Благодарю вас. Ничего. Значительно лучше.

– Как я рада!

Мы стояли посредине двора, и я видела, что она чего-то боится. Но, кажется, она еще и стыдилась, что приходится чего-то бояться. Я тоже волновалась, потому что давно поняла, что это Глашенька Рыбакова. Она не была красавицей с распущенными волосами, в белом атласном корсаже, но все-таки она тоже была красавицей, и я влюбилась в нее с первого взгляда.

Я сказала:

– Может быть, мы зайдем за ящики? Здесь что-то дует.

Она улыбнулась, и лицо стало еще нежнее. У нее были белые, удивительно ровные зубы и на верхней губке заметный, тоже беленький, заиндевевший пушок. Но в глазах было что-то мрачное – я заметила это, когда она улыбнулась.

– Нет, ведь я на минуту. Я хотела...

Она опять сняла рукавичку, теперь с левой руки, и стала вытряхивать из нее записку. Записка выпала, и она подала ее мне.

– Ты не можешь... Митя дома?

– Дома.

– Ты не можешь передать ему эту записку?

Я сказала вежливо:

– Сию минуту. Подождите, пожалуйста.

И не торопясь отправилась домой.

На всю жизнь запомнилось мне чувство ожидания чего-то необычайного – чувство, с которым я шла к Мите, крепко держа записку в руке. Честное слово, я бы не удивилась, если бы двери дома в эту минуту распахнулись сами собой!

Митя еще играл на скрипке, не зная, что его ожидает. Продолжая играть, он обернулся и недовольно вскинул брови, когда я вошла. Я осторожно отдала записку, точно это было что-то живое.

С этой минуты к чувству ожидания чуда присоединилось еще одно чувство, не оставлявшее меня весь этот день и потом еще много дней, когда я уже давно жила у себя в посаде. Это было чувство всматривания в то неизвестное, что заставило Митю мгновенно побледнеть, покраснеть, выбежать со скрипкой в руках на крыльцо, окинуть двор нетерпеливым, нежным и вместе с тем властным взглядом и побежать наперерез по нетронутому снегу прямо к ящикам, за которыми стояла она. То неизвестное, что заставило его через несколько секунд выйти вместе с Глашенькой и почтительно предложить ей руку, которую она приняла свободно и гордо. То неизвестное, которым были полны их движения, их лица, и то, что он вел ее, ничего не боясь, а она шла с прелестной улыбкой, немного несмелой, но совершенно доверяясь ему.

То неизвестное, которое вдруг преобразило (не только для них, но и для меня – я смутно догадалась об этом) весь этот заваленный снегом двор, ящики и суровое зимнее небо.

Замирая от восторга, от счастья, я смотрела на них.

Я отпрянула, когда они поднялись на крыльцо, точно это были не люди, а какие-то волшебные существа, которые могли исчезнуть, если бы им этого очень захотелось. Они не заворили за собой дверь, и я очнулась, лишь когда Агаша закричала на меня из кухни таким обыкновенным, грубым голосом, как будто до того, что произошло, ей не было никакого дела.

Вовсе не концерт занимал Митю и не в Дворянском собрании собирался он выступать. Он хочет жениться на Глашеньке – вот зачем ему штатский костюм.

Очевидно, у меня был торжественный вид, когда я пришла со своей догадкой к Андрею, потому что он долго рассматривал меня, а потом сказал с интересом:

– Ты делаешь носом, как кролик.

Мне захотелось подразнить его, что я что-то знаю, а он не знает. Но я не успела. Вдруг приехала на извозчике мама и увезла меня домой.

Замостье

Ничего как будто не переменилось в нашей комнате за то

время, что я провела у Львовых: так же стояли на своих местах темно-красный комод под вышитой скатертью, обеденный стол и другой, маленький стол в углу со швейной машиной. Так же везде лежали и висели коврики и половики из цветных тряпок – мама шила их на продажу, но в последнее время их не стали брать, потому что во время войны жилось тяжело, а такая вещь, как коврик, была все-таки роскошь. На своем месте висела афиша, объявлявшая о спектакле «Бедность не порок», и точно так же среди действующих лиц и их исполнителей можно было найти П. Н. Власенкова – так звали моего отца. Все по-старому! Только котенок, которого еще осенью я подобрала на Плоской, стал большим пушистым котом да кенар перестал петь и сидел нахохлившись, сердитый и грустный.

Но вскоре я поняла, что изменилось многое.

Еще когда я лежала у Львовых и мама приходила ко мне каждый день, я чувствовала, что она держится со мной как-то иначе, чем прежде. С Агнией Петровной она разговаривала гордо, как будто для того, чтобы показать, что между ними нет никакой разницы, а со мной – торопливо-жалко, точно она была в чем-то передо мной виновата. Теперь мне все время казалось, что она что-то скрывает от меня – скрывает и боится, что я догадаюсь. Но и без всяких догадок я знала, что, если мама плачет по ночам и сидит на постели с остановившимся взглядом, значит снова что-то случилось с отцом.

Это очень странно, но хотя мне минуло семь лет, когда отец уехал на Камчатку, я как-то сбивалась в своих представлениях о нем – он казался мне то одним, то совершенно другим. Только что я привыкала к тому, что папа служит в духовной консистории, как он являлся домой в форме Вольного пожарного общества, в блестящей медной каске, с какими-то черными звенящими веревками на груди. Он часто «менял должности», как говорила мама, и в каждой новой должности чувствовал себя совершенно другим. Каждый раз он был очень доволен, клялся маме и мне, что бросит пить, и много говорил о значении своей профессии для государства, так что мне, например, начинало казаться, что, если бы папа не поступил в Вольное пожарное общество на платную должность, Россия могла бы погибнуть от неосторожного обращения с огнем.

Я помню, как однажды мама взяла меня на дневной спектакль «80 тысяч лье под водой». Это была феерия, очень интересная и поразившая меня тем, что все действительно происходило под водой и даже была видна большая зеленая акула с неподвижно разинутой пастью. В этом спектакле участвовал папа. Я не узнала его, потому что он прошел по сцене только один раз в каком-то халате и сказал глухим голосом: «Нет, это судно!»

Но мама объяснила, что это был папа и что его так плохо слышно, потому что он под водой. Во втором акте он уже не был занят и вместе с другими свободными артистами дул на

кисею, изображавшую море.

Это хорошее время скоро кончилось, потому что пошли дожди, антрепренер разорился, и папа получил за весь сезон одиннадцать рублей пятьдесят копеек.

Потом были другие должности: он являлся домой то в виде носильщика, то почтальона, так что это превратилось в какой-то номер с переодеваниями, который я однажды видела в цирке. Но это был не номер. Это был папа, который каждое утро со стоном расчесывал перед зеркалом редкие пушистые волосики и крепко брал в кулак маленький красный нос.

С тех пор прошло несколько лет, он давно уехал на Камчатку и в 1917 году должен был вернуться с капиталом в 3548 рублей, не считая драгоценных шкур, которые ему ничего не стоили, потому что он служил приказчиком и камчадалы, по его словам, так уважали его, что почти каждую неделю дарили по одному соболю и одной черно-бурой лисице. Таким образом, к тому времени, когда, согласно договору, он мог уехать с Камчатки, у него должно было, по моему подсчету, накопиться 215 соболей и столько же черно-бурых лисиц. Мы с мамой так часто говорили об этих соболях и лисицах, что в конце концов отец стал представляться мне каким-то Робинзоном Крузо: в остроконечной меховой шапке, меховой куртке, меховых штанах и сапогах – все из соболей и чернобурых лисиц. Он сидит на скале, а перед ним стоит голый черный Пятница с перышками на лбу – в «Ни-

ве» я видела такую картинку.

Постепенно этот образ, который очень нравился мне, за-
слонил все другие...

Мама умела шить не только коврики и половики, а вообще была превосходной портнихой, получившей швейное образование в Петербурге, но заказов во время войны становилось все меньше, и ей все чаще приходилось гадать, хотя прежде она гадала только для друзей и знакомых. А потом и с гаданьем стали плохи дела, потому что в нашем посаде поселился звездочет, который гадал совершенно иначе, чем мама, и к нему стали приезжать даже из уезда, а у мамы гадали теперь только старухи, платившие иногда по две копейки. С разрешения полиции у звездочета на заборе были нарисованы звезды, он одевался под индуса, давал советы молодым и «объяснял призвание», то есть в какое высшее учебное заведение идти после окончания гимназии. А мама ничего этого не умела, и мне пришлось поступить сперва к Валуеву разбирать тряпки, а потом в трактир Алмазова судомойкой. И вот чем хуже шли наши дела, тем более могущественным рисовался мне папа.

Он был маленького роста, а теперь стал казаться большим. Он привезет огромный капитал и меха, и мне не нужно будет чистить ножи и вилки толченым кирпичом, а маме не придется сидеть за шитьем по ночам и будить меня, чтобы я вдела нитку в иголку: под утро мама почти переставала видеть.

В 1915 году папа прислал письмо, в котором не было ни одного слова о войне, и это еще больше уверило меня в его необычайном могуществе и силе. У нас тут гимназисты учатся в две смены, потому что новое здание отдано под лазарет, в посаде каждую ночь ловят дезертиров, почти всех извозчиков взяли на войну, и даже на тройках возят мальчишки или бабы, а его там, на Камчатке, все это совершенно не интересует.

По-прежнему камчадалы таскают ему драгоценные шкуры, и он, задрав кверху свой уже не маленький, а большой красный нос, меняет соболей на табак и водку.

Была ли мама такого же высокого мнения о его камчатских делах? Не знаю. Она не жаловалась, но я видела, что ей тяжело. Все время у нее как будто что-то кипело на сердце. По ночам она теперь стонала, и когда, проснувшись, я кричала испуганно:

– Что с тобой, мама?

Она отвечала с глухим стоном:

– Не спрашивай.

Но не только с мамой произошло что-то непонятное за те шесть недель, что я провела у Львовых. Дома стояли на своих местах. К Валуеву по-прежнему везли на возах грязные разноцветные тряпки. Звездочет, одетый как индус, в чалме и белом халате, по-прежнему сидел у окна, раскладывая свои знаки и звезды. Но все как бы сдвинулось в глубине, и я в особенности чувствовала это, когда забегала в «Чайную

лавку и двор для извозчиков», находившуюся напротив нашего дома.

От Лопихина пятнадцать верст до железной дороги, но извозчиков брали не только к вокзалу, а и в соседний городок Петров.

В Петров почему-то любили ездить гулять купцы, хотя это был грязный городишко, куда меньше Лопихина и стоявший не на реке, а в скучном еловом лесу. Среди извозчиков были «одиночки» и «троечники», ездившие на тройках и носившие синие кафтаны и низенькие бархатные шапки с павлиньими перьями. Троечники были богатые и к одиночкам относились с презрением.

Когда началась война, почти всех извозчиков взяли в армию, но некоторые троечники вернулись – «откупились», как говорили в посаде. Под утро, поставив лошадей во дворе, они заходили в чайную и молча садились за стол в шелковых рубашках, подпоясанных кушаками, на которых болтались гребенки.

Мне всегда казалось немного странным, что все уже было, когда я появилась на свет: дома, люди, земля, солнце, которое точно так же всходило и заходило. Но в том, что существовали эти троечники, у меня никогда не возникало ни малейших сомнений. Меня не было, а они точно так же сидели в шелковых рубашках, потные, бородатые, с расстегнутыми воротниками, и долго пили чай, а потом перевертывали стаканы и говорили «аминь».

И вот теперь, когда я вернулась домой, что-то переменялось в этом извечном чаепитии.

Во-первых, новые люди появились на постоялом дворе – худые, беспокойные, в папахах и солдатских шинелях. Я слышала, как посадский пристав спросил одного такого солдата.

– Какого полка?

Тот ответил:

– Битого, мятого, сорок девятого.

И засмеялся, когда пристав от неожиданности смешно шлепнул губами.

Во-вторых, в чайной появился Сеница. Сеница был трочник, который еще в мирное время славился тем, что у него были лошади по пятьсот рублей и он возил только «купечество и дворянство». На второй год войны он пропал, а теперь вернулся и завел тройку с сеткой и фонариками. Сетка была синяя, с кисточками и накидывалась на выезд, а фонарики Сеница для шику зажигал на оглоблях. Он был маленький, страшный и носил черную бороду и усы, под которыми неприятно открывались красные губы. Он сверкал глазами, когда говорил, и вдруг становились видны желтые белки. В такие минуты я всегда вспоминала, как мама говорила о нем, что еще в мирное время он завез в лес и убил офицера.

Этот Сеница теперь мало возил. Прекрасно одетый, в синей расстегнутой поддевке, под которой была видна алая шелковая рубашка, в лакированных сапогах, он сидел в чайной и читал вслух «Газету-копейку».

– С точки зрения национально-прогрессивного блока, университеты до конца войны надо закрыть, – сказал он однажды, – а студенчество отправить в окопы. А там на выбор, господа, – столбняк или пуля!

Я долго думала, «правый» он или «левый», но после этих слов решила, что «правый».

Вообще троечники были «правые», а рабочие с кожевенного, которые иногда заходили в чайную, были, конечно, «левые», а Синица нарочно громко читал «Газету-копейку», когда они торопливо – совсем не так, как извозчики, – ели ситничек с чаем. На Синицу они поглядывали кто сумрачно, кто равнодушно.

Все это была, конечно, политика. У Львовых мне казалось, что политика существует только для того, чтобы объяснить, почему Митю исключили с волчьим билетом. Как бы не так!

В Лопяхине пропало мясо и масло – это была политика. Какого-то Протопопова назначили министром внутренних дел – тоже. Когда на кожевнном заводе бастовали, директор сказал рабочим: «Да я вас из снега накатаю сколько угодно», – тоже. Но однажды я видела, как по Лопяхину провели большую партию «политических», закованных в кандалы, и какая-то старая женщина бросилась к арестантам (потом говорили, что она узнала сына), и конный городской ударил ее по лицу нагайкой. Вот когда я поняла, что политика – это не только очереди за мясом, Митин волчий билет, Протопопов,

а что-то гораздо более серьезное, что-то ссорившее и разъединявшее людей и в то же время объединявшее их, связывая между собой необыкновенно далекие события и предметы.

Письмо. мамино детство. Снова у Львовых

Мне больше не нужно было ходить в трактир, потому что, пока я болела, Алмазов нанял другую судомойку. Мама дала мне работу – переписать «Новый полный чародей-оракул». Это была редкая книга, которую она брала у одного букиниста, и только за чтение платила двугривенный в день. Я принялась, и так усердно, что мама даже забеспокоилась – она считала, что от чтения и писания «надрывается грудь».

Жандарм, которого я однажды видела у Агаши, в этот вечер явился к нам, хотя мама была с ним почти не знакома. Он пришел с женой – он повсюду ходил с женой – и сперва не заводил разговора насчет гаданья, а все рассказывал о том, что в полиции теперь стало почти невозможно служить. Настроение – как в пятом году, а содержание и обмундирование значительно хуже. Жена тоже сказала, что хуже и что у Николая Николаевича – так звали жандарма – миокардит. Я запомнила эту болезнь, потому что у Агнии Петровны тоже был миокардит и она часто о нем говорила.

Мама поддакивала, хотя ей было неприятно, что они так

долго тянут: я видела, как несколько раз она сердито поджимала губы. Но жандарм вдруг вытащил из кармана шинели бутылку вина, и мама оживилась.

Не буду рассказывать о том, как они пили, – это неинтересно. Жандарм все хотел рассказать о своем начальстве.

– Наш полковник – интересная личность, – начинал он, но жена перебивала его, и он умолкал. Он был грубый, но робкий и, как видно, очень боялся жены. Потом мама принялась за гаданье, и вот тут стало ясно, зачем они пришли. Начальство предложило жандарму идти в шпики: перевестись в армию и там подслушивать разговоры, а потом доносить, кто и при каких обстоятельствах высказывался за революцию и, следовательно, против царя.

– Слушать и брать на карандаш, – объяснил жандарм. – Вот тебе и нечаянной радости царица небесная!

Он сомневался, стоит ли идти в шпики, тем более что в армии настроение не лучше, чем дома. Один знакомый жандарм пошел и «хватил шилом патоки». Короче говоря, он решил погадать и теперь надеялся лишь на то, что Наталья Тихоновна поможет выйти из этого затруднительного положения.

Я сидела за столиком и переписывала, но одним ухом прислушивалась к гаданью: что мама скажет жандарму? Конечно, ничего хорошего. Она жандармов ненавидела и называла их «охломоны». Сквозь прореху в тряпичном ковре, которым была разделена комната, мне было видно ее худое доб-

рое лицо со впалыми щеками, седеющие рыжеватые волосы, цыганские серьги-кольца. Она подделывалась под цыганку и время от времени говорила: «ча одарик, ча север» – «иди сюда, иди скорей» или «хохавеса» – «обманываешь». Это было все, что мама знала по-цыгански.

Жандарма я не видела, только нос и усы, но и по этим толстым стоячим усам легко было представить себе тупое внимание, с которым он слушал маму. Жена подлезала под эти усы и верещала так, что маме приходилось время от времени сурово взглядывать на нее, ожидая, когда она кончит.

Несколько раз я засыпала над «Чародеем-оракулом» и просыпалась, а жандарм все не мог решить, идти ему в шпики или нет. Самые простые выражения, вроде «казенный дом», «пиковый интерес» или «пустая мечта», пугали его. Он спрашивал:

– Что значит?

И мама наконец сердито сказала ему:

– Жандарм ты – так и оставайся жандармом! По крайней мере шпоры хлопают, люди слышат...

Мне почудилось, что где-то плачет мама, и так вдруг не захотелось переходить от чего-то хорошего, что я видела во сне, к этим слезам и непонятным мученьям! Я выглянула из-под коврика – да, мама! Жандарма уже не было, на его месте сидела с папиросой в зубах наша соседка Пелагея Васильевна, а мама расхаживала, держа в руке какую-то бумагу, и читала.

– «У нас забрали в армию двух артельщиков, – прочитала она, – из коих один подал жалобу на решение воинского присутствия, но оставлена без последствий. Так что в лавке я теперь один и дела идут отлично. У нас теперь два кинематографа. Черная мука – две копейки фунт».

Я сидела, обхватив руками колени, и мне хотелось, чтобы она скорее прочитала то самое страшное, из-за чего она время от времени останавливалась и, стиснув зубы, смотрела на Пелагею Васильевну.

– «Ты меня зовешь домой, – продолжала она, – но я знаю эту проклятую жизнь, и лучше мне пойти на поле брани, чем жить, как у Пушкина: „...старик со своей старухой тридцать лет и три года“». Старуха я для него! – незнакомым, грубым голосом крикнула мама.

Пелагея Васильевна слушала, покашливая. У нее была чихотка, и в доме все говорили, что весной она непременно умрет. Потухшая папироса торчала у нее в зубах, и она перекатывала ее из одного угла рта в другой с задумчивым, озлобленным выражением.

– «Тридцать лет и три года»! – злобно повторила мама. – «Вот почему я решил остаться здесь навсегда. Суди меня, мне нет возврата, судьба решается моя, и если ждет меня расплата, пускай за нее отвечу я. Или по крайней мере до 1921 года, когда кончится новый договор – пять лет без вычета процентов натурой...» Хорош? А я тут живи – подыхай!

Больше я не слушала ее. Неужели отец не вернется к нам

никогда? Вот отчего мама не спит по ночам. Она не говорила со мною об этом письме, потому что стеснялась, что отец отказался от нее. Он бросил нас оттого, что с нами ему тяжело, а на Камчатке ему будут платить жалованье без вычета каких-то процентов натурой.

Я не плакала. Но если бы в эту минуту он явился ко мне в том прекрасном наряде, который я придумала для него и который он, наверно, никогда не носил, я бы сделала вид, что даже не знаю его. Я бы не сердилась, как мама. Я бы равнодушно спросила: «Кто вы такой?» И если бы он бросился передо мной на колени, я бы скорее умерла, чем простила его.

Прежде я не очень-то прислушивалась к маминым рассказам – все казалось, что мама говорит не о себе, а о ком-то другом. А теперь каждый вечер я просила ее рассказывать и слушала, слушала без конца.

– Отец решил отдать меня в город к портнихе учиться. И что же я увидела в этом ученье? Мы были две девочки, и хозяйка нас клала в прихожей вместе с собакой. Мы радовались этой собаке – она была мохнатая, теплая, а из-под двери ужасно, Танечка, дуло... Но пришел отец и взял меня от этой портнихи. У нас была семья шесть человек, и он получал в день семьдесят пять копеек, как рабочий, но он был гордый человек и сказал, что не потерпит, чтобы его дочь спала рядом с собакой. В это время приезжает к матери двоюродный брат портной и помогает устроить меня в придворную ма-

стерскую.

Много раз я слышала историю о том, как мама работала на Малой Конюшенной, в придворной мастерской, но никогда прежде мне не приходило в голову поставить себя на место маленькой девочки, двенадцати лет, которая каждое утро выходила из каких-то загадочных Нарвских ворот и два с половиной часа шла на работу. Два с половиной часа! За это время наш Лопухин можно было обойти по меньшей мере три раза.

– Почему я не ездила? Потому, что конка – это был расход: шесть копеек внизу, четыре наверху, а мой отец оставался на Путиловском молотобойце и все время стоял на семидесяти пяти копейках. Вот я и шла с Чугунного к Нарвской заставе, потом по Старо-Петергофскому, Екатерингофскому, мимо Мариинского театра, а там уж было недалеко совсем – по Казанской. Зато ночью, когда возвращалась домой, – это было, Танечка, жутко! Подходишь к Нарвским – кабак, потом мостик, река Таракановка. Потом поле, развалины и снова кабак – положительно на каждом шагу. Я по тротуару не шла – он был гнилой, дощатый, – а по мостовой, и то приходилось все время перебегать с одной стороны на другую. Пьяные, страшно, темно, того и гляди отволтузят... И вот работаю я года три, научилась не хуже других, сижу на сарафанах – это была такая парадная форма, из бархата лилового, голубого и желтого цвета. Сижу я на сарафанах, а нужно так шить, чтобы примерка была без булавок – как надела

платье, так и сняла. А жалованья мне платят восемь с половиной. Я прошу: «Мадам Бризак, – наша начальница была мадам Бризак, – я работаю третий год и на княгиню Юсупову шью полгода». А она мне говорит: «Девочка, ты прибавки от меня не дождешься. Не годится быть такой гордой, ты очень бедная и очень серая». Я прихожу к мастерицам, а они спрашивают: «Ты ей руку поцеловала?» – «За что? За мою работу?» А старшая услышала и говорит: «Ты молоденькая, живешь на заводе, у вас волнения, и я тебе советую держать язык за зубами».

До сих пор мама рассказывала громким голосом, очевидно с целью показать всему дому, что она не такой человек, чтобы целовать у какой-то мадам Бризак руку. Но после слова «волнения» она начинала говорить шепотом, и я догадывалась, что сейчас речь пойдет о Василии Алексеевиче Быстрове. Василий Алексеевич был тоже рабочий, как мамин отец, но его часто сажали в тюрьму, так что в конце концов он стал «нелегальный». Однако в тюрьме он несколько не исправлялся и, едва его выпускали, опять начинал работать в какой-то «организации» – это слово мама произносила так тихо, что его можно было угадать только по движению губ. Он был «большевиком», как старший Рубин.

Почему у мамы становилось нежное лицо, когда она рассказывала об этом человеке? Почему она задумывалась и вдруг со смехом вспоминала, как Василий Алексеевич однажды пригласил ее в Екатерингоф на гулянье и вздумал пройтись

ти по вертящемуся столбу и свалился? Почему от Василия Алексеевича она неизменно переходила к истории о том, как однажды она ехала на конке и какой-то приличный господин с пушистыми усами подсел к ней и спросил, что она читает.

– А я читала «Воскресение» Толстого и только поняла, что ради Катюши Масловой Нехлюдов бросил свое богатство. Господин говорит: «Вы правы. Позвольте вас проводить». А я отвечаю: «Нет. Я из рабочей семьи и вам не пара».

Этот господин с усами был мой отец – и тут кончился мамин рассказ, начинались слезы...

Должно быть, письмо отца и то, что он отказался от нас, заставило меня надолго забыть о Львовых. Шесть недель, проведенных мною в «депо», теперь стали казаться мне каким-то мгновением, подобным тому мгновению, когда падает звезда и нужно успеть пожелать самое заветное до того, как она упадет. Она сверкнула и исчезла, а я не успела ничего пожелать – вот чувство, с которым я вспоминала о Львовых.

Несколько раз я проходила мимо «депо» – толстая крыша из снега висела над вывеской, все так же весело задирали вверх свои хвостики большие белые буквы. Что случилось в этом доме после того, как я ушла из него? Вернулась ли Агния Петровна? Женился ли Митя на Глашеньке? Едва ли, потому что весть о подобном событии донеслась бы и до посада. Вывел ли Андрей заключение из своей «таблицы вранья»? Разумеется, я могла просто зайти к нему – ведь теперь

мы были прекрасно знакомы. Но это было нелегко – зайти, когда тебя никто не зовет. Кроме того, Львовы могли подумать, что я пришла, чтобы напомнить Агнии Петровне ее обещание отдать меня в прогимназию Кржевской.

Но вот наступил день, когда я пришла в этот дом и подняла в нем целую бурю.

День этот начался прекрасно. С утра запел кенар – это было, оказывается, хорошим предзнаменованием. Ситный теперь редко удавалось достать, а я достала свежий, да еще с изюмом. Веселые, мы сели завтракать, и мама, как всегда, когда у нее становилось легче на душе, рассказала о екатерингофском гулянье и об особой «копорской дорожке», по которой всегда гуляли девушки из Старорусского уезда, приезжавшие к лету на огороды. Эта дорожка виднелась издалека, потому что девушки были в розовых, желтых, зеленых платьях, юбки до земли, с воланами. . . И мама принялась подробно описывать «копорские» платья.

На зимнее пальто (для меня) и ботинки (для мамы) давно были отложены пятнадцать рублей, и после завтрака мы пошли на базар. Правда, все время получалось, что если купить пальто получше – не останется на ботинки, а если ботинки получше – не останется на пальто, так что мы бродили целый день и до того измучились, что пришлось посидеть у менялы и съесть расстегай с луком. Но в конце концов мы все-таки купили отличное пальто с бобриковым воротником и ботинки на шнурках, совершенно целые и почти до колена.

Было уже темно, когда мы вернулись домой. Мама стала разогревать обед, а я забралась на постель с ногами – замерзла. И вдруг я услышала, что мама свистит. Она чудно умела свистеть и, когда я была еще совсем маленькая, всегда не пела, а насвистывала мне колыбельные песни. Но это было давно, а за последние годы я и думать забыла, что мама умеет свистеть. Должно быть, старое и очень хорошее вспомнилось ей. Я вскочила и крепко поцеловала ее.

Потом мы пообедали, и я уселась за «Новый полный чародей-оракул».

Глаза слипались после утомительного морозного дня на базаре, но я время от времени крепко зажмуривала их, чтобы прогнать сон, и продолжала писать. В нашем доме редко случалась тишина, а тут вдруг настала, только из «Чайной лавки» доносился как бы сдержанный гул голосов да где-то далеко позвякивала упряжь, скрипели полозья, ямщик окликал лошадей...

Далеко, далеко! А вот и поближе. Еще поближе. Еще – и все оборвалось, но не у «Чайной лавки», где обычно оставались тройки, а подле нашего крыльца. Что за чудо?

Кто-то быстро взбежал по лестнице и распахнул дверь не стучась. Это был Синица.

– Наталья Тихоновна, дома ты? – спросил он нетерпеливо. – Звездочета нет, а я баришню привез, гадать хочет. В Петров едем... Ну? Быстро надо.

Он говорил, как цыган, – «баришня».

Почему я подумала в эту минуту, что Синица привез Глашеньку и что они с Митей едут в Петров венчаться, – не знаю! Это мелькнуло мгновенно и даже как будто еще прежде, чем тройка остановилась у нашего дома. Еще прежде, чем Синица сбежал вниз и другие, легкие шаги слышались на лестнице, я знала, я была твердо убеждена, что это Глашенька. И не ошиблась.

Она была в том же беленьком полушубке, в котором я впервые увидела ее у Львовых, но шапочку держала в руке, и волосы, небрежно заколотые, вот-вот готовы были рассыпаться по плечам. Она была совсем другая, чем тогда, хотя такая же хрупкая и с таким же нежным румянцем на тонком лице. Но в этой хрупкости теперь было что-то отчаянное, как будто она решилась или была готова решиться на опасный, рискованный шаг.

Мама сделала движение, чтобы встретить ее, и Глашенька вдруг бросилась к ней. Это было так, как будто мама, которую она видела впервые в жизни, могла еще спасти ее – от кого?

– Что, барышня, милая, голубчик мой?

Глашенька так же порывисто отшатнулась.

Прошло немало времени, прежде чем сквозь туман детского обожания я разглядела Глашеньку Рыбакову. Но тогда... Кого не поразили бы эти глаза, полные мрачного света, как бы изнутри озарившего Глашенькино лицо, когда она склонилась над картами, которые неторопливо раскладыва-

ла мама?

Глашенька сидела, опершись локтями о стол, обхватив голову руками. Распустившиеся волосы упали на руки, но она не поправляла их. Мама переставила лампу со стола на комод, чтобы было просторней гадать, свет падал Глашеньке прямо в лицо, и она не отстранялась, не заслонялась, как будто нарочно для того, чтобы я запомнила ее навсегда.

– ...И будут тебе от этого короля хлопоты, – медленно говорила мама. – И через хлопоты получишь богатство. А еще предстоит тебе дорога дальняя. Поздняя, – прибавила она, и хотя уже давно стемнело и было ясно, что Глашеньке предстоит поздняя дорога – как будто не эта, а другая, страшная дорога открылась в картах на гадальном столе. – Но этот король фальшивый, и ждет тебя с ним одна пустая мечта.

Тысячу раз я слышала, как гадает мама, и всегда так знакомо звучали для меня эти привычные слова, которые она складывала то так, то эдак, стараясь угадать «судьбу». И еще привычнее было взволнованное выражение доверия, надежды, которые я видела на лицах приходивших к ней женщин, перед которыми она испытывала – так мне казалось – полусознательный стыд. Но в этот вечер я слушала ее, как будто она была какая-то чародейка, которая действительно знала то, что, кроме нее, не знал ни один человек на земле.

Червонная дама легла между семеркой и восьмеркой бубен – это означало измену; потом пошли пики и пики: восьмерка – слезы, десятка – разлука. И мама все назвала – и

разлуку, и слезы.

Понимала ли она то, чего не понимала я, сколько ни глядела на эти тонкие руки, сжимавшие голову, на волосы, рассыпавшиеся по рукам, на мрачное лицо с широко открытыми глазами? Разумеется, понимала. Недаром же, оторвавшись от карт, она вдруг грустно сказала не «гадальным», а своим обыкновенным голосом:

– Эх, барышня! Себя обманываешь, кого винить будешь? И Глашенька вздрогнула и взглянула ей прямо в лицо.

Это была минута, когда я вдруг испугалась, что вовсе не с Митей едет Глашенька венчаться в Петров. Почему он остался внизу? Что он делает у крыльца, на морозе? Я слышала, как Синеца что-то спросил у него – он не ответил.

Наконец, разговаривая, они стали подниматься по лестнице, и первым вошел и остановился у порога ямщик, а Митя остался в коридоре, точно скрывался от нас. Почему?

– Пора, баришня, пора, – сказал Синеца.

От него пахло холодом, он похлопывал по валенкам кнутом, а за ним в глубине стоял и молчал Митя. Молчал и все не заходил. Почему?

Я тихонько вышла в коридор. Это был не Митя. Это был Раевский. Я сразу поняла, что это он, хотя он был в штатском, в огромной шубе с поднятым воротником, и стоял в стороне, точно прячась. Под бобровой шапкой было видно его полное, взволнованное лицо. Я негромко ахнула и побежала назад.

Мне были известны такие истории. В кино «Модерн» я видела драму, в которой барышня была влюблена в своего жениха, а убежала с другим, но для этого у нее были серьезные причины! Ее жених был старик, и ему не нравилось, что она играет на сцене. Но тут было совсем другое. Как живая, стояла передо мной Глашенька – не эта, мрачная, с распущенными волосами, а веселая, обрадовавшаяся, когда Митя выбежал к ней из дому, застенчивая, когда он предложил ей руку, гордая, когда она приняла ее свободно, как королева. Она любила его! Почему же вдруг разлюбила? Как она могла променять Митю на этого полного, неприятного человека с короткими ногами, который, как медведь, ворочался в коридоре, а потом зашел и, не здороваясь, положил на стол кучу смятых трехрублевых бумажек?

Какое-то странное оцепенение нашло на меня. Кажется, я видела, а может быть, и нет, как мама, кончая гаданье, на удачу вытащила последнюю карту, и этой картой оказалась десятка пик – удар или больная постель, как Глашенька каким-то несмелым движением смахнула карты со стола, встала, качнулась и упала бы, если бы Синица не подхватил ее. Он понес ее по лестнице на руках, но чуть не выронил, и Глашенька спустилась сама. Я выбежала вслед за мамой.

...Путаясь в шубе, Раевский сел подле Глашеньки и стал застегивать полсть. У него пальцы не слушались. Синица крикнул:

– Эй, вы, распрекрасные, дети любимые!

И снова забренчала упряжь, закрипели полозья – только что близко, а вот уже дальше и дальше. Мы вернулись домой, и все время, пока мама, вздыхая, жалела Глашеньку, ругала Раевского, мне казалось, что я слышу далекий скрип и бречанье убегающей тройки. И потом, вернувшись к себе, я еще долго прислушивалась к этим звукам, точно было невозможно допустить, что Глашенька уехала, а мы ничего не сделали, чтобы помочь ей, остановить ее...

* * *

Ах, какое у нее было лицо, когда она встала и смахнула карты со стола! Мне было жаль ее. Но еще больше я жалела Митю. Быть может, я должна сразу же бежать к нему? И мне представилось, как я бегу по набережной, глухо, грустно звенят тополя, Ольгинский мост открывается под ясной луной. Вот и «депо», Митя не спит, а играет на скрипке. Запаянная трубка с ядом кураре лежит у него на столе. Дрожа, я говорю ему, что Глашенька убежала с Раевским. Он отвечает: «Я презираю ее».

И снова берется за скрипку, как будто ничего не случилось.

А может быть, действительно ничего не случилось? Может быть, он поссорился с Глашенькой? Может быть, у него уже прошла любовь? Ведь недаром же Андрей говорил, что «для людей типа Мити прошлое вообще не имеет значения».

Может быть, компания в конце концов повлияла на него и он раздумал жениться?

Я все лежала, и думала, и прислушивалась – и все чудилось далеко-далеко позвякиванье упряжи, скрипенье полозьев, глухой стук копыт по наезженной, крепкой дороге.

Еще когда я уезжала от Львовых, Андрей дал мне книгу «Мысли мудрых людей», так что у меня был прекрасный повод, чтобы отправиться к нему и спросить, знает ли Митя, что Глашенька убежала с Раевским. Прежде мне казалось неудобным возвратить книгу, пока я ее не прочла. А теперь я решилась, тем более что это была довольно скучная книга.

Оказалось, что это трудновато: подойти к «депо» и позвонить не с кухни, а в парадную дверь. Но я все-таки позвонила и, когда Агаша открыла, сказала ей вежливо:

– Доброе утро.

Она стала ахать, что у меня хорошенькое пальто и что я сама стала хорошенькая. Я поблагодарила:

– Спасибо. Андрюша дома?

В эту минуту он сам вылез из своей комнаты, какой-то бледный, с завязанным горлом, и сказал:

– Здравствуй. Ты молодец, что пришла. Иди-ка сюда, я тебе покажу одну штуку.

У него ничего не переменялось в комнате, только сильно пахло валерьяновыми каплями и на полу стояла большая стеклянная банка. Я сразу заметила, что в ней тараканы, но

не обыкновенные, рыжие, а черные, которых, говорят, нарочно разводят, чтобы они приносили счастье.

Андрей внимательно посмотрел на меня. Кажется, ему понравилось, что я не удивилась.

– Я их усыплю, – сказал он. – Понимаешь? А потом буду вскрывать. Хочешь мне помочь? Нужно сесть на банку.

На банку, оказывается, нужно было сесть потому, что, если просто закрыть ее картонкой или фанерой, тараканы не уснут или уснут в ужасных мучениях. Когда я пришла, Андрей как раз ломал себе голову над этим вопросом. Он уже влил в банку эфирно-валерьяновых капель, и эфир испарится, если кто-нибудь не сядет на банку. Он бы сам сел, но ему нужно готовить какие-то препараты.

Я сказала:

– Ну пожалуйста.

И хотела снять пальто. Но Андрей сказал, что так даже лучше. И вот в новом зимнем пальто я уселась на банку.

Это было довольно глупое положение, в котором я не могла, разумеется, завести разговор о Мите, раздумал ли он жениться на Глашеньке и знает ли, что она убежала. Я только спросила:

– А они будут долго?

– Что долго?

– Засыпать?

Андрей сказал, что черных тараканов ему не приходилось усыплять, но они похожи на жуков, а жуки от эфира в конце

концов засыпают.

– Тебе неудобно сидеть? – заботливо спросил он. – Хочешь, я принесу тебе что-нибудь почитать?

Я поблагодарила и отказалась.

Интересно, что, сидя на этой банке, неудобно было разговаривать не только о Мите. Я спросила:

– Ну, что нового?

И даже этот вежливый, обыкновенный вопрос показался мне каким-то неловким. Но Андрей, кажется, не заметил, что я смущена. Озабоченный, он сидел на корточках и долго смотрел на тараканов. Потом вышел, вернулся с доской, на которой рубили мясо, и начал вкалывать в нее булавки. Я спросила беззаботно:

– А зачем тебе их вскрывать?

Он посмотрел на меня, не видя и думая о чем-то своем, – я знала это выражение с раздвинутыми от внимания бровями.

– Видишь ли, я хочу выяснить, есть ли у них сердце. Я мог бы просто спросить у дяди, он знает наверняка, потому что даже сказал, как называется черный таракан по-латыни. Но мне хочется самому. Я поспорил с Валькой, что есть, а он говорит, что поверит только в том случае, если увидит собственными глазами. Это его девиз: «Верю тому, что вижу». В Бога он не верит тоже потому, что не видит.

Валька – это был Коржич. Значит, Андрей с ним помирился.

– Но это вообще интересно, верно?

Я согласилась, что интересно. Тараканы налезали друг на друга и издалека трогали стенки усами. Смотреть на них можно было только сбоку и то если поднять пальто. По-моему, они не думали засыпать, хотя я сидела очень плотно и могла поручиться, что ни одна частица эфирно-валерьянового газа не пропала напрасно. Но Андрей сказал, что они засыпают.

– Это у них возбуждение, – объяснил он. – Кошки бесятся от валерьянки, а тараканы, вероятно, сперва возбуждаются, а потом засыпают.

Мы помолчали. Потом я спросила:

– Ну, как Агния Петровна? Вернулась из Петрограда?

– Вернулась.

– Отменили волчий билет?

– Отменили. Митя едет в Ивановск.

Я твердо решила спросить насчет Глашеньки, когда тараканы заснут. Но не выдержала:

– Что же он? Как видно, раздумал жениться?

– Нет, не раздумал.

Не раздумал! Я чуть не вскочила, но вовремя опомнилась и только немного повертелась на банке.

– Интересно. А помнишь, ты говорил, что они, возможно, убегут венчаться в Петров?

– Помню. И что же?

– Ничего.

Я помолчала. Тараканы все шевелили усами, и я опять не

выдержала:

– А вот и не убегут.

Наверно, у меня в голосе было что-то трагическое, потому что Андрей бросил свою доску и с удивлением обернулся ко мне:

– Почему ты думаешь?

– Потому, что Глашенька уже убежала.

Прежде я не замечала, чтобы у него так быстро менялось выражение лица. Только что было видно, что он глубоко занят тараканами, как будто на лице было написано: «Тараканы». А теперь кто-то мгновенно написал: «Глашенька убежала».

– Этого не может быть, – медленно сказал он. – Как убежала?

– Вчера вечером она заезжала к маме погадать, и с нею был этот Раевский. Мама сказала, чтобы я не говорила, что они были, но раз Митя не знает, я считаю, что было бы подло скрывать.

Я подобрала пальто и посмотрела на тараканов с такой ненавистью, что, если у них было сердце, как предполагал Андрей, оно бы сжалось от этого взгляда.

– Она не хотела.

– Кто?

– Глашенька. Не то что не хотела, а расстраивалась. Она была в отчаянии, – сказала я торжественно, – потому что любит Митю, а убежала с другим!

Тут надо было бы рассказать, как Глашенька, войдя, бросилась к маме, как, сжимая виски, смотрела на карты, точно ждала спасенья от этих растрепанных карт. Но, сидя на тараканах, я не могла рассказывать об этом.

– Вот что, – сказал Андрей, – ты останься, а я сейчас же пойду.

– Куда?

– К нему.

Теперь у него стало решительное лицо. Он сжал губы и вышел.

Вероятно, это было подло с моей стороны, но, подождав немного, я осторожно встала и на цыпочках пошла за Андреем. Это было свыше моих сил – в такую минуту усыплять тараканов! Кроме того, я надеялась, что они прекрасно подохнут под доской, которую я положила на банку.

Митя был в столовой, зубрил, обложившись книгами, – наверно, твердо решил получить в Ивановске золотую медаль. Дверь в коридор была открыта. Когда я на цыпочках подошла к ней, Андрей стоял у буфета – очевидно, только что начал говорить, потому что я еще видела, как Митя поднял к нему недовольное лицо – сердился, что ему помешали.

У меня сильно билось сердце, и я была убеждена, что Андрей сейчас прямо скажет ему: «Убежала с Раевским», как он однажды прямо спросил у меня: «Тебе хочется знать, отчего у меня распух нос?»

Ничего подобного. Он мялся, и я видела, что ему очень

трудно.

– Ты не беспокойся, – наконец мягко сказал он, – тем более что это может оказаться неправдой. Но, видишь ли, дело в том... ко мне пришла Таня, и она говорит, что вчера Глашенька гадала у Таниной мамы.

– Гадала?

– Да. И Таня говорит, что она была не одна. – Андрей говорил совершенно как взрослый. – Она была с Раевским.

Он замолчал. Он не смотрел на Митю.

– В общем, они уехали. Таня говорит, что в Петров.

Митя встал. Я никогда не думала, что можно так побледнеть. Он коротко крикнул – не знаю что, просто так – и взялся руками за стол. Мне показалось, что он взялся, чтобы не упасть, а он вдруг двинул стол и с грохотом повалил его, так что тетради и книги посыпались на пол и, между прочим, разбилась прекрасная белая лампа, которой Агния Петровна гордилась и говорила, что какой-то артист привез ей эту лампу из Вены.

Потом все произошло очень быстро. Митя выскочил в переднюю, сорвал с вешалки шинель. Стук палок раздался в коридоре – это старый доктор, услышав крик, вышел из своей комнаты и спросил тревожно:

– Что случилось?

Андрей сказал ему странным голосом:

– Дядя, идите сюда, скорее, скорее!

И я увидела, что Митя, полужакрыв глаза, стоит у стены

и, шатаясь, трогает стену руками. Но вот он шагнул, распахнул двери, и, когда мы с Андреем выбежали за ним, только шинель, которую он перекинул через плечо, мелькнула в калитке.

Павел Петрович

С этого дня я стала снова бывать у Львовых – во-первых, потому, что понравилась старому доктору, а во-вторых, потому, что все-таки интересно было узнать, есть ли у тараканов сердце.

Но сперва я расскажу о Мите.

Агнии Петровны не было дома, когда мы сказали ему, что Глашенька убежала с Раевским, и Андрей решил, что нужно «немедленно найти маму, потому что Митя может покончить с собой». Он привел меня в Митину комнату и взял со стола трубку с ядом кураре.

– Возможно, что это и не кураре, – сказал он. – Но на всякий случай нужно убрать его подальше. Дай-ка платок.

Он завернул трубку и сказал, чтобы я держала ее в левой руке.

– Ты можешь упасть, – объяснил он. – А падая, человек инстинктивно опирается на правую руку. А теперь отправляйся домой, а я пойду искать маму.

Это было глупо, что я согласилась: пока я дойду до дому и вернусь обратно, у Львовых могли произойти важные со-

бытия. Я подумала об этом, но поздно – уже когда шла через Ольгинский мост. Теперь оставалось только снести яд и поскорее вернуться.

В кухне у Львовых – на этот раз я позвонила с кухни – было большое общество и сидели даже какие-то важные люди – например, горбатый чиновник, о котором гимназисты говорили, что он страшный силач. Агаша стояла у плиты и рассказывала о Мите. Оказывается, она служила у Львовых с 1904 года, и с Митей еще тогда было мученье: как увидит даже на той стороне улицы мальчика или девочку, сразу перебежит и побьет. Потом она рассказала, что Митю ищут по всему городу и нигде не могут найти, хотя прошло уже пять часов с тех пор, как он, выйдя от Рыбаковых, бросился вниз по Сергиевской, к Тесьме, – и пропал.

В этом месте она собралась зареветь, но удержалась, потому что горбатый чиновник придвинулся к ней и спросил:

– А яд-то?

И Агаша ответила загадочно:

– Так и не можем найти.

Я еще слушала не понимая.

– Очевидно, отравился – и в прорубь, – заметил чиновник.

Агаша заревела. Все задумчиво смотрели на нее. Я – тоже. И вдруг я поняла: яд! Они думают, что Митя отравился ядом кураре! До сих пор я тихонько стояла в углу и даже немного боялась, как бы меня не прогнали, а теперь вышла и встала подле Агаши:

– Агашенька, Агния Петровна думает, что Митя отравился тем ядом, который лежал у него на столе?

Она сказала, что да и что Агния Петровна чуть не упала в обморок, а теперь ходит с жандармом и ищет Митин труп. И что Андрей тоже как ушел с утра, так и нету.

– Хорошо. Тогда я пойду к дяде, – сказала я твердо. – Мне нужно сказать ему несколько слов.

Без сомнения, старый доктор тоже беспокоился насчет Мити. Он привстал с кресла, как только я появилась в дверях, и спросил тревожно:

– Нашли?

Я сказала:

– Здравствуйте, дядя Павел. Как ваше здоровье? Дело в том, что Агния Петровна напрасно беспокоится: яд у меня. Это трубка с чем-то красным. Андрей дал ее мне. Она в комоде. Если хотите, я принесу.

Он внимательно посмотрел на меня и улыбнулся, хотя, кажется, я не сказала ничего смешного.

– Да, да, – сказал он. – Мы взволновались, хотя я говорил Ане (так он называл Агнию Петровну), что это не может быть кураре и вообще, вероятно, не яд. Но все-таки где же Митя?

– Видите ли, дядя Павел, – сказала я оживленно, – интересно еще, где Андрей. Понимаете, Андрей ведь тоже пропал. Это меня утешает.

Доктор был без очков, когда я пришла, а теперь надел и снова посмотрел на меня, как будто увидел впервые.

– Так, так, – серьезно сказал он. – Почему же это тебя утешает?

– Потому, что он тоже беспокоится и пришел бы домой. А он не пришел. Значит, у него есть причина.

– Почему ты думаешь?

Я сказала, как Андрей:

– Потому, что сделала заключение. В самом деле, дядя Павел. Куда Андрей мог пропасть на весь день? Он не вернулся домой из-за Мити. Вы читали «Злой рок шахт Виктория»? Он следит за Митей, как Нат Пинкертон. Следовательно, они придут оба в одно время, один за другим.

Я была в таком вдохновении, что прослушала звонок и в первую минуту не поняла, почему Агаша сказала: «Ай, ба-тюшки!» Она выбежала в коридор, я за ней, но сразу вернулась, потому что старый доктор потянулся к палке, лежавшей на полу, и чуть не упал. Я подала ему палку.

Агашины гости высунулись из кухни, чтобы посмотреть, кто пришел. Это был Митя. Он снял шинель в передней. Проходя мимо Агашиных гостей, он двинулся на них и сказал грозно, совершенно как Агния Петровна:

– Это еще что такое?

Потом прошел к себе и закрыл дверь на ключ.

А через несколько минут снова раздался звонок, и пришел Андрей. Он пришел страшно замерзший и долго отмалчивался, шмыгая носом и мрачно глядя на свои посиневшие пальцы. Я сказала, чтобы он приложил их к животу – верное

средство. Он приложил.

Оказалось, что он все время сидел во дворе у Рубиных и ждал Митю. Он не хотел показываться, чтобы Митя его не прогнал. Но в общем, сказал он, это была ерунда, потому что он играл с ребятами в снежки и стал замерзать, только когда этих ребят позвали обедать.

Агния Петровна тоже пришла – откуда-то она уже знала, что Митя нашелся. Она сняла пальто и, сердито протирая запотевшее пенсне, долго стояла в передней. Все от нее удрали. Она постучалась к Мите, и я слышала, как он сказал:

– Мамочка, если можно, потом.

Я ушла. Старый доктор почему-то поцеловал меня, когда я заглянула к нему, чтобы проститься.

Павел Петрович предложил заниматься со мной по всем предметам прогимназии Кржевской, и я стала ходить в «депо», как в прогимназию, с тетрадками и книжками, которые дал мне Андрей. Это были книжки по арифметике и географии, а по природоведению и по русскому доктор сказал, что не нужно, потому что он и без книг знает эти предметы. Я приходила и садилась у его ног на скамеечке. Он спрашивал – между прочим, строго, а я отвечала. Теперь я нисколько не боялась, а, напротив, привыкла к старому доктору и любила его. Входя к нему, я всегда чувствовала, что для того, чтобы заговорить со мной, ему нужно вернуться откуда-то издалека. Я чувствовала, что он одинок. Например, он лю-

бил прочитать газету и поговорить о политике, а кроме меня, никто не хотел его слушать. Я расстраивалась, когда его обижали. Он очень обрадовался, когда Митя решил пойти на медицинский факультет, и хотел по этому поводу прочитать ему свою статью, которая называлась «Защитные силы», но Митя сказал: «Ох, дядюшка, ради бога!» – и это было так грубо, что Агния Петровна сделала ему замечание.

Старому доктору было скучно постоянно находиться в своей комнате, иногда он выходил посидеть на крыльце, и Агния Петровна сразу же начинала ворчать, как будто это было трудно – подать ему шубу и шапку и немного поддержать под локоть в дверях.

Словом, непонятно почему, но в «депо» были как бы две партии: одну составляли Агния Петровна и Митя, а другую – этот старый человек, очень вежливый, который ничего не требовал, ни на что не жаловался и только сидел в своей комнате и писал. Мне казалось, что очень трудно быть вежливым, когда приходится ходить, опираясь на палку и тряся головой, висящей как-то отдельно от тела.

Я давно хотела поговорить с Андреем об этих странных отношениях, тем более что он жалел Павла Петровича и часто заходил к нему. Наконец решилась, и Андрей ответил, что мог бы объяснить, но не стоит, потому что я все равно ничего не пойму.

– Ты знаешь, что такое принцип? – спросил он.

– Нет.

– А что такое микроб?

– Тоже.

– Вот видишь.

Но я стала приставать, и тогда он сказал, что Агния Петровна рассердилась на доктора за то, что он из принципа отказался лечить за деньги. К другим врачам бедняки не ходят, а к нему ходят, потому что он с них ничего не берет или самое большее двадцать копеек. Между тем он мог бы зарабатывать десять рублей в день – Андрей сам слышал, как Агния Петровна сказала об этом Агаше.

Но немного он все-таки зарабатывает, главным образом на медицинские журналы, которые ежегодно выписывает из Петрограда и Москвы. Он интересуется микробами, но из этого тоже ничего не выходит, потому что тут главное – опыты, а для опытов нужны аппараты. Впрочем, может быть, старому доктору они не очень и нужны, потому что он занимается плесенью. Как это ни странно, он считает, что плесень не только совершенно безвредна, но действует лучше многих лекарств.

Когда-то он жил в Петербурге, но потом его выслали, потому что он выступил против царя на каком-то съезде. В Лопухин он попал не сразу, а сперва три года провел где-то в Сибири.

– Между прочим, ко времени моего рождения он уже ходил с палкой, – добавил Андрей. – А потом, когда мне стало года четыре, – с двумя.

Я спросила, чем болен Павел Петрович, и Андрей объяснил, что это тяжелый ревматизм, которым он заболел, когда его отправляли в Сибирь по этапу. Но он не лечился, потому что большинство лекарств, по его мнению, сплошное жульничество, за исключением двух-трех, которые были известны еще Гиппократу.

– Знаешь, кто такой Гиппократ?

Мне хотелось учтиво промолчать, чтобы вышло, как будто я знаю, но Андрей понял и сказал:

– Эх ты, Гиппократа не знаешь!

И он объяснил, что в древности был такой врач, который мог даже не осматривать больного, а только посмотрит ему в глаза – и готово! Уже известно, выздоровеет больной или нет.

Стало быть, Агния Петровна сердилась на брата из-за какого-то принципа? Или из-за Гиппократа?

Я долго думала над этим вопросом и решила, что Андрей ошибается. Просто доктор был стар и болен, а на старых и больных всегда сердятся. Это я заметила, еще когда у меня была бабушка, которая умерла в 1913 году. Особенно когда нечего надеяться, что они когда-нибудь смогут заплатить за еду и квартиру.

На другой день после истории с Митей я принесла в «депо» трубку с ядом кураре, и старый доктор приветливо закивал, увидев меня.

– А, злой рок шахт Виктория!

Это было у крыльца, он сидел закутанный, только длинные брови торчали из-под нахлобученной шапки.

– Ну как, сделала заключение?

Я сказала:

– Здравствуйте, дядя Павел. Как ваше здоровье? Насчет чего заключение?

– Насчет яда кураре, – сказал доктор и засмеялся.

Разумеется, он шутил, я и не собиралась делать заключение насчет яда кураре.

Я сказала:

– Между прочим, Андрей думает, что это не яд. Вот посмотрите, дядя Павел. Хотя он красный, но прозрачный. А яд – например, жидкость для клопов, – он мутный.

Доктор взял у меня трубку и положил ее на перила. Потом расстегнул шубу и достал из кармана перочинный нож. Он вывернул карман и вытряхнул из него комочки ваты и крошки. Он нисколько не торопился, так что мне и в голову не могло прийти, что он собирается делать. Я только ахнула, когда он взял в правую руку нож и сильно ударил им по стеклянной трубке.

– Дядя Павел!

Кончик отлетел, и доктор налил немного яду кураре на ладонь и понюхал его, потом тронул языком и энергично сплюнул.

Я заорала:

– А-а-а!

Он сказал сердито:

– Молчи, болван!

Потом засмеялся, бросил трубку в снег и сказал, что это вода, подкрашенная кармином.

Андрей потом говорил, что здесь сыграла роль быстрота плевания и что он берется таким образом попробовать даже какую-то царскую водку. Но водка, даже и царская, было одно, а яд – совершенно другое. Кто еще в Лопяхине решился бы попробовать яд?

Митя уехал в конце января, и в «депо» стало пусто без него – так много говорили о нем и столько он всем доставлял беспокойства. Перед отъездом он зашел к Глашенькиным родителям и просидел у них страшно долго; Андрей потом рассказывал, что Агния Петровна уже принялась было искать в его комнате записку: «Прошу в моей смерти никого не винить». Когда он надолго пропал, она прежде всего искала эту записку.

Я спросила у Андрея, как он думает, почему все-таки Глашенька любила Митю, а убежала с Раевским, и Андрей объяснил, что это сложный вопрос, в котором может разобраться только наука. Но в литературе ему известны подобные факты. Например, в пьесе Островского «Бесприданница» одна девушка чуть не убежала с богатым купцом, и когда жених стал упрекать ее, она отвечала: «Поздно! Теперь у меня перед глазами заблестело золото, засверкали брилли-

анты». Возможно, что то же самое произошло и с Глашенькой, тем более что отец Раевского – директор банка и в Лопухинском уезде ему принадлежит большое имение «Павы». Но они убежали не в имение, а в Петроград, потому что Раевский все равно собирался перевестись в Петроград. Он хочет кончить Училище правоведения и стать дипломатом.

* * *

Мне запомнился вечер, когда уехал Митя. Компания устроила ему проводы, и Агния Петровна стояла у ворот и смотрела, нет ли поблизости городских, потому что гимназисты пели запрещенные песни.

Мы с Андреем вышли во двор, и она нас тоже заставила сторожить, хотя пение едва доносилось из-за двойных рам, был десятый час и городские спали. Потом извозчики подали к крыльцу, и оказалось, что товарищи едут провожать Митю за пятнадцать верст на вокзал, хотя и непонятно было, как они поместятся в двух маленьких санках. Они вышли, обнявшись, в расстегнутых шинелях, с фуражками на затылках, и Агния Петровна снова стала бояться – уже не полиции, а гимназического начальства. Наконец все расселись, уехали, и наступила та пустота, о которой я уже рассказала.

Теперь я бывала в «депо» почти каждый день и оставалась, даже когда Андрея не было дома. Случалось, что Агаша просила меня помочь: я убирала комнаты или топила пе-

чи. Но чаще я сидела у старого доктора и читала что-нибудь или смотрела, как он пишет. Мы подружились. Я рассказала ему, как мы с мамой живем в посаде и как коврики и половики совсем перестали брать, а гадать ходят теперь к звездочету, хотя он только обманывает публику своими фокусами да звездами на заборе. Доктор попросил меня объяснить значение карт, и я объяснила, что бывают разные способы гаданья – цыганский и французский «Ленорман-Етейла». Самый трудный – французский, а самый верный – цыганский, потому что только одни цыгане еще верят в судьбу. Но это было уже из «Оракула», которого, кстати, пришлось вернуть, потому что букинист набавил за день четыре копейки. Потом доктор наудачу вытащил семерку, десятку, короля и валета бубен и спросил:

– Ну-ка, что это значит?

И я, не задумываясь, ответила:

– Это значит, что после прогулки вы свидитесь дома с вашим предметом и вступите в брак, к досаде и огорчению старого родственника.

Доктор слушал с интересом.

– Значит, «Ленорман-Етейла», – сказал он задумчиво. – Так... А сколько семью девять, ты знаешь?

Я сказала, что знаю только до «шестью шесть», а он задал мне до «семью девять».

В другой раз я рассказала ему, как к маме приходил жандарм с женой, и Павел Петрович сказал загадочно:

– Крысы бегут с тонущего корабля.

Я видела, что ему хочется поговорить о политике, и нарочно спросила:

– Дядя Павел, а при чем же здесь крысы?

И он объяснил, что в данном случае монархия, то есть самодержавие, – это корабль, а крысы – это те, кто догадывается, что он непременно потонет. Но догадываются далеко не все, тем более что самодержавие устраивает заговор, чтобы победить народ, который стремится к свободе.

– Дядя Павел, а вы стремитесь к свободе?

Он засмеялся и сказал:

– О да!

В свою очередь, помещики и буржуазия тоже устраивают заговор, чтобы устранить царя, потому что они боятся, что у царя не хватит сил справиться с народом. Но из всех этих заговоров все равно ничего не выйдет, потому что народ просыпается или уже проснулся, и низвержение самодержавия, безусловно, произойдет – возможно даже, что через три или четыре года.

Это было очень трудно выговорить – «низвержение самодержавия». Но потом получилось, и заодно я рассказала Павлу Петровичу все, что знала о политике, то есть что есть разные партии и что Синица, по-моему, «правый», потому что хочет отправить всех студентов на фронт.

Доктор выслушал и, к моему изумлению, сказал, что все эти партии почти ничем не отличаются друг от друга.

– Два мира борются между собой, – сказал он, – мир богачей и мир тружеников, которые всю жизнь работают на этих богачей и тем не менее остаются бедняками.

Мне захотелось спросить, кто же я – богатая или бедная, тем более что в посаде мы с мамой считались не особенно бедными. Но он задумался, уставившись в одну точку, широко открыв свои грустные, потускневшие глаза. И я не спросила.

В другой раз он заговорил о болезнях. Он думал, оказывается, что мы заболеваем не потому, что у нас что-нибудь болит, а потому, что нас точат микробы.

Я не поняла, но кивнула. И вдруг старый доктор рассказал мне сказку о ночном стороже, который любил смотреть через увеличительные стекла. Это было давно, лет двести тому назад, и не у нас в России. Сторож был чудак, и ему было интересно, что, например, делается в голове у мухи или как устроен глаз у быка. Увеличительные стекла, которые мальчишки покупали, чтобы выжигать разные слова на заборах, он делал сам, причем такие сильные, что обыкновенные волосы выглядели под этими стеклами как толстые, мохнатые бревна.

И вот однажды он набрал в стеклянную трубочку немного воды и посмотрел на нее через стекла, хотя всем было ясно, что, как бы воду ни увеличивать, она все равно остается водой. Но оказалось, что в воде плавают какие-то маленькие животные – такие маленькие, что он просто не поверил гла-

зам, причем это были не рыбы.

Я сказала:

– Дядя Павел, ну какие маленькие? Как соринка?

– Меньше.

– Как пылинка?

– Еще меньше.

Меньше пылинки был, по-моему, только глаз у какой-нибудь букашки вроде комара. Но мне показалось неудобным сравнивать маленьких животных, о которых так серьезно рассказывал старый доктор, с глазами каких-то букашек.

И вот ночной сторож стал повсюду искать маленьких животных – он почему-то решил, что они должны водиться не только в воде. И действительно, оказалось, что их сколько угодно, например, в перце, если его размочить. Сторож стал даже разводить их – кажется, в соусе или в компоте.

По вечерам он зажигал фонари, по ночам ходил с ружьем и кричал: «Спите спокойно!» А днем сидел над своими маленькими животными и рассматривал их через увеличительные стекла.

В общем, это была довольно интересная история, хотя я так и не поняла, каким образом нас точат микробы.

Мне понравилось, что сторож ходил по улицам и кричал: «Спите спокойно!» Вот если бы у нас был такой ночной сторож в посаде! Насчет маленьких животных я хотела сказать, что зачем же их разводить, если от них нет ни малейшей пользы? Но у доктора было такое печальное, доброе лицо,

когда он рассказывал эту историю, что я только подумала – и не сказала.

Зимним вечером снег падает на затерянный в глуши городок, толстая белая крыша над вывеской «депо» становится все толще и наконец обрушивается с бесшумным вздохом. Время идет – минута за минутой. Необыкновенные события происходят в мире, и так как они действительно необыкновенны, другие, еще более необыкновенные, вообразить невозможно. Люди верят, надеются, ждут...

Все медленнее летят тяжелые, крупные хлопья – воздух полон ими от земли до небес. Они сходятся и расходятся, точно пляшут какой-то неторопливый старомодный танец. Поднимается ветер – и они поднимаются вверх. Ветер падает – и они покорно ложатся на землю.

Держа на коленях раскрытую книгу, девочка сидит у ног старого человека. Снизу она видит его бороду и очки, которые едва держатся на кончике толстого носа. Она читает, он слушает. Иногда он строго поправляет ее.

Такими ушли от меня детские годы.

Глава вторая. Старый доктор

Для кого?

Это было вечером, в десятом часу. Маме, засидевшейся за шитьем, захотелось чаю, и она послала меня на постоянный двор. Размахивая пустым чайником, я перебежала дорогу – и остановилась: навстречу мне шел Рубин, изменившийся, постаревший, в измятом, изорванном пальто, с черными руками. Он взглянул на меня и сказал тихим голосом:

– Не найдется ли водички, девица?

Это было невероятно, чтобы Рубин, который, встречаясь со мной, всегда закрывал один глаз и делал серьезное, смешное лицо, ни с того ни с сего назвал меня «девицей» и притворился, что мы незнакомы.

Я ответила растерянно:

– Сейчас принесу, – и со всех ног побежала в «Чайную лавку».

Уж не помню, когда меня осенила догадка, что это вовсе не Рубин, которого я превосходно знала, а его брат, большевик. Помню только, что все время, пока старший Рубин пил, мне хотелось спросить, не попал ли он под лошадь, – месяц назад у нас в посаде был такой случай.

– У вас пальто разорвалось. Зайдите к нам, мама зашьет.

– Некогда, девица.

Он хотел погладить меня по голове, но взглянул на свою черную, запачканную руку и передумал.

– Тебе сколько лет?

– Одиннадцать.

– Ну и счастливая же ты, девица! Хорошая у тебя будет жизнь.

Я спросила:

– Почему вы так думаете?

– Я не думаю. Я знаю.

Пошатываясь от усталости, он двинулся дальше, а я стояла и долго смотрела вслед – до тех пор, пока он наконец не скрылся за поворотом.

На другой день мы с мамой узнали, откуда он шел и почему у него были черные руки. Сибирский казачий полк, выданный Временным правительством в Петроград, должен был проехать через станцию Лопяхин, и рабочие кожевенного завода под руководством Рубина разобрали пути и уговорили казаков вернуться.

Ни годы войны, ни Февральская революция почти ничего не изменили в Лопяхине. Зато теперь, когда под разными предлогами я каждый день бегала из посада в город, можно было подумать, что от одного до другого раза проходили не часы, а годы.

Перемены были огромные, необыкновенные, и касались они решительно всех – это в особенности меня поражало.

В садике перед домом уездной управы, где помещался со-
вдеп, появились солдаты, которые раздавали листовки, и я
сама видела, как директор мужской гимназии взял такую ли-
стовку и сейчас же с негодованием швырнул на землю. На
заборах, на стенах домов появилось воззвание, подписанное
«Военно-революционный комитет», и трудно передать, ка-
кую бурю произвел в Лопяхине этот маленький листок бу-
маги! Я была у Львовых, когда к Андрею пришел его одно-
классник фон дер Боль, сын уездного предводителя дворян-
ства. Сперва они говорили о гимназических делах – правда
ли, что в Петрограде латынь уже отменили? А потом фон дер
Боль стал ругать Военно-революционный комитет. Андрей
возражал спокойно, только один раз спросил сквозь зубы:

– Ты этого не понимаешь? Значит, у тебя иначе устроен
головной мозг.

Но фон дер Боль не унимался, и тогда Андрей подошел к
нему так близко, что они едва не стукнулись лбами, и сказал
ровным голосом:

– Еще одно слово – и я тебя арестую.

Вчера это показалось бы просто смешным – то, что один
ученик пятого класса собирается арестовать другого. А сего-
дня... сегодня фон дер Боль побледнел и торопливо вышел.

На тряпичной фабрике Валуева был устроен митинг, и
представитель Совета рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов сказал, что посадские получают квартиры в городе,
а буржуи – в посаде.

Прогимназию Кржевской слили с городским училищем, мальчики и девочки стали учиться вместе, и у подъезда, на котором с замирающим сердцем я видела однажды самое мадам Кржевскую, полную, величественную, в хвостатой накидке из соболей, появилась надпись: «Первая единая трудовая школа».

Зимним вечером извозчичьи санки останавливаются перед бывшим «депо». На санках – узлы, среди них два живых – я и мама. Агния Петровна упростила маму съездить в деревню, чтобы обменять на муку и крупу вещи из комнаты тети. Мы сидим под узлами и молчим – замерзли. Извозчик, с которого снег падает большими кусками, слезает с козел и кричит:

– Ай живы?

Андрей, веселый, довольный, выходит на крыльцо и говорит нам:

– Здравствуйте. Как ваше здоровье?

И вот дом, в котором все происходило неожиданно и ничего нельзя было предсказать, в котором я узнала так много нового, в котором никто не удивлялся яду кураре, «таблице вранья», «Любезности за любезность», становится обыкновенным домом. С незнакомым, странным ощущением полного равенства между мамой, Агашей и Агнией Петровной, между Андреем и мной я брожу по «депо» – вот новое открытие, от которого веселый холод так и ходит в душе. Впрочем, скоро это чувство проходит, и начинает казаться, что

так было всегда. Все вместе, за одним столом, мы едим оладьи в жарко натопленной кухне. Потом мы все вместе ложимся спать на полу, и Андрей будит меня, потому что ему приходит в голову интересный логический вывод: на крупу и муку удалось обменять красные вещи из комнаты тети. Тетя была дурна собой. Следовательно, она спасла нас от голода, потому что, если бы она была хороша собой, Агнии Петровне не пришлось бы с помощью красной комнаты устраивать ее семейную жизнь.

Проходит зима, и мы получаем прекрасную комнату на Малой Михайловской, в квартире бывшего прокурора судебной палаты, убежавшего за границу во время Гражданской войны. Больше не надо говорить шепотом – за стеной уже не живут такие же несчастные, говорящие шепотом люди, как мы. Теперь за стеной направо живет маленькая, тоненькая женщина – Мария Петровна, а за стеной налево – высокая, полная – Надежда Петровна. Вместе с мамой они работают в швейной мастерской Церабкоопа.

Новая комната – просторная, светлая, и, просыпаясь, я думаю о том, что прежде мы с мамой как будто прятались, а теперь вышли на волю, и после темноты стало даже больно глазам – так сияет по утрам во всех трех окнах солнечный свет. Мебель у нас теперь тоже новая – два мягких кресла, белый шкаф и ковровый диван. Из посада мы перевезли только комод, мамину кровать и афишу, объявлявшую о спектакле «Бедность не порок» с участием П. Н. Власенко-

ва, о котором, кстати сказать, мы с мамой уже давно ничего не слыхали.

Карта военных действий висит на Революционной площади (бывшей Церковной), нитка фронта, поддерживаемая красными флажками, описывает круг, и с каждой неделей этот круг становится больше и больше.

События, величие которых переоценить невозможно, происходят в границах этого круга, – что значат в сравнении с этим маленькие события, волнующие маленький город? Но без первых не было бы вторых, – я делаю и это открытие! В «Красном набате» появляется сообщение о наборе служащих для Дома культуры, и горсовет предлагает Агнии Петровне заведовать этим Домом, как превосходному знатоку артистического и музыкального мира. Уполитпросвет организует издательство, и среди первых книг выходит брошюра Павла Петровича под названием «Мировоззрение и медицина» – тоненькая, в розовой обложке, с обращением к читателям, в котором автор объясняет, почему он не ссылается на источники и не «угощает читателей мудростью энциклопедических словарей». «Времени мало, – пишет он, – а хочется сказать так много». Смутно упоминает он о большом труде, посвященном изучению целебных сил организма. На обороте обложки, под ценой, он указывает свой адрес, и по этому адресу вдруг начинают приходить письма. Они приходят из Москвы и Петрограда, из Киева, Севастополя и Одессы. Старому доктору пишут студенты и рабочие, профессо-

ра и врачи – те, кто согласен, что «силы природы» излечивают болезни, и те, кто не согласен.

Наконец – торжественный день! – почтальон приносит письмо от знаменитого Т., и старый доктор, которого я спрашиваю, чем прославился этот человек, придя в ужас от моего невежества, целую неделю рассказывает мне о заслугах Т. перед русской и мировой наукой.

Что же написал Павлу Петровичу великий ученый? Кто знает! Должно быть, нечто необычайное, потому что после его письма «труд» откладывается, и старый доктор, помолодев лет на двадцать, принимается за краткую статью, в которой, как он объясняет мне и Андрею, будет изложена лишь самая сущность теории...

Снова зимний пасмурный вечер, но с каждым часом яснеет, загораются звезды, и луна неторопливо устраивает по-своему все, что ни окинешь взглядом: в маленьком, тесном городке становится просторнее, и дома начинают казаться стройнее и выше.

Девушка семнадцати лет сидит на скамеечке у ног старого доктора, но больше он не спрашивает у нее, сколько шестью семь или семью девять. Он диктует ей, она записывает – краткая статья постепенно превращается в книгу.

– И вот человечество вновь остановилось перед вопросом, которому гениальные умы прошлого отдавали все свои силы, – диктует старый доктор. – Кто уносит миллионы жизней, погибающих от сыпного тифа, оспы, испанки, бешен-

ства и других болезней, возбудителей которых еще никому не удалось обнаружить? По мере того как эти болезни внимательно изучались...

У ЛЬВОВЫХ ГОСТИ

Это был вечер, когда я вспомнила, что давно не была у старого доктора, и, забежав после школы к маме на работу, решила пойти не домой, а к Львовым. Я шла по улице Карла Маркса и думала о себе в третьем лице, но не просто думала, а как бы писала: «Ей семнадцать лет, неужели уже семнадцать?» Это выходило смешно. «Кто знает, что ждет ее впереди? Еще два года – нет, полтора! – и, окончив школу, она поедет в Москву».

Радостный, поющий дом, летящий вперед и освещенный, как пароходы по вечерам на Тесьме, почему-то представился мне, когда я шепотом произнесла это слово: «Москва!» Я увижу Москву. Я стану врачом. Старый доктор говорит, что в Москве собрались самые лучшие медицинские силы.

Я пробежала вечерую площадь, поднялась по Ивановской – и замерла: у Львовых все окна были освещены, тени мелькали за ними, и снег крутился в столбах света, падающих из окон во двор, совершенно так же, как перед домом, который только что представился мне.

Я влезла на мусорный ящик и, прижавшись к стеклу, увидела старого доктора, который, сторбившись, сидел за сто-

лом. Агния Петровна стояла за его спиной, держа в руках чашку, в которой горел – что за чудо! – круглый синеватый огонь. Окно было все в крестиках и звездочках и как-то преломляло свет, так что вдруг передо мной мелькнули и пропали не один, а два старых доктора. Но вот я нашла Андрея, сидевшего как-то по-своему, спокойно и прямо. Вот кто-то очень высокий встал и, смеясь, стал зачерпывать синеватый, колеблющийся огонь разливательной ложкой. Что все это значит?

Я подошла к черному ходу, постучала, и Агаша, которая по-прежнему жила у Львовых, открыла мне как ни в чем не бывало.

Приехал Митя – вот что это значит! Он приехал из Ростова-на-Дону, где еще служил в Красной армии, хотя многие врачи были уже демобилизованы и разъехались по домам.

Агаша сделала загадочное лицо.

– Выпьем, а потом на станцию, – сказала она. – Решенный вопрос.

– Зачем?

– Гулять. Интересные такие приехали и вино привезли.

В том, что гости привезли вино, не могло быть сомнений хотя бы потому, что Агаша ежеминутно делала большие глаза без всякой причины. Я спросила, где Митя, и она сказала таинственным шепотом, как будто, кроме меня, никто на свете не должен был этого знать:

– Там.

Потом она взяла меня под руку, и мы пошли на кухню, в которой было полутемно, потому что горела слабая угольная лампочка. Я спросила почему, и Агаша объяснила, что в столовой Мите показалось мало света и он вывернул лампочки у подъезда, в кладовой и на кухне.

– Дивный сон, – сказала она и ушла.

Я стояла и волновалась. Митя! Мне тоже захотелось сразу пойти в столовую. Но я решила, что это неудобно и лучше зайти завтра, а сейчас вернуться домой.

В эту минуту высокий человек – тот самый, которого я видела через окно, – вбежал в кухню и энергично, сердито крикнул:

– Агаша!

Он недовольно поднял брови, как Митя, и шумно вздохнул. Это и был Митя, и еще прежде чем он увидел меня, я успела огорчиться, что он стал такой большой, просто огромного роста.

– Здравствуйте, Митя.

Он шагнул ко мне и сказал с изумлением:

– Неужели Танечка? А почему на кухне?

Я сказала:

– Случай, который объяснить очень просто. Условились, что зайду к доктору, а он, без сомнения, занят в связи с вашим приездом. Пожелаю вам доброго вечера, вот и все.

Это вышло слишком гладко, но я, когда смущалась, всегда говорила гладко.

Митя засмеялся. От него немного пахло вином, и теперь это был уже почти прежний Митя.

– Э, нет! – сказал он. – Отпустить старую знакомую, которую я однажды чуть не убил? Которая так чудно говорит: «Пожелаю доброго вечера, вот и все»! Это не в моих интересах.

Он взял меня за руку, но я твердо сказала:

– Нет, к сожалению.

И отняла руку.

Я не ломалась, а просто раздумала, потому что на мне было старенькое ситцевое платье, а бежать домой передеваться было неловко.

Все-таки он притащил меня в столовую, и как раз когда все говорили шепотом: «Тише, тише!» – потому что старый доктор поднялся и объявил, что хочет сказать несколько слов. Митя пробормотал: «Ох, дядюшка!» – но на него зашикали, и тогда он знаками комически представил меня своим друзьям – высокому человеку в военной форме, с большим лениво-добродушным лицом, и маленькому черному штатскому, который при виде меня широко открыл один глаз, а другой закрыл без единой морщинки. Первый был незнакомый, а второй – наш, лопахинский, я сразу вспомнила – Рубин.

В столовой было натоплено, накурено. Голубоватый огонь горел в чашке посреди стола, согнувшийся старый доктор говорил что-то сильным, помолодевшим голосом.

...Я только что успела немного привыкнуть к тому, что Агния Петровна, в бальном платье, гордо распоряжается за столом, к тому, что Андрей, вдруг оказавшийся маленьким рядом с высоким братом, смотрит на него с обожанием, которое напрасно старается скрыть, – словом, ко всему, что в этот вечер прямо с неба свалилось в «депо», как Митя подсел ко мне и взволнованно спросил:

– Ты знаешь, что Глашенька Рыбакова вернулась в Лопухин?

Это было неожиданно, и я не сразу ответила, тем более что в кухне он называл меня на «вы» и мне это понравилось, а теперь вдруг на «ты». Кроме того, он спросил так, как будто Глашенька только вчера вернулась, в то время как она уже больше года жила в Лопухине. Она приехала совершенно другая, робкая, в некрасивом пальто, сшитом из клетчатой шали, и когда я ее встречала, мне всегда казалось, что она старается идти поближе к забору, чтобы занять поменьше места на улице и вообще на земле.

Я сказала:

– Давным-давно.

– Ты знаешь, где она живет?

– Знаю.

– Я хочу попросить тебя проводить меня к ней.

Я сказала вежливо:

– Пожалуйста.

Но мне почему-то ужасно не захотелось его провожать, и

все время, пока Павел Петрович говорил свою речь, я думала о том, как это неприятно, что я согласилась.

В сущности говоря, какое мне было дело до того, что Глашенька обещала выйти за Митю, а потом убежала с другим?

В свое время мы с Андреем решили, что она совершила страшную подлость, тем более что Митя любил ее и был в отчаянии, когда она убежала. Андрей утверждал, что это клятвopепреступление, за которое во времена Петра Первого отрубили бы правую руку. Но, с другой стороны, мало ли какие причины могли заставить ее отказаться от Мити?

Теперь мне было не одиннадцать лет, я понимала, что любовь – это сложное чувство. Но все-таки было досадно, что у него не хватает чувства достоинства и он бежит к Глашеньке в первый же день приезда.

Доктор кончил свою речь. Оказалось, что в лице Мити и Курочкина – так звали высокого военного – он приветствует молодое поколение врачей, которому был бы счастлив передать свой многолетний опыт.

– Итак, открыт путь, о котором мы не могли и мечтать в прежние годы. Науке предстоит осветить целую область неведомого. В эту область неизбежно должны прийти новые, молодые силы!

Все стали аплодировать, а Митя с Курочкиным подхватили Павла Петровича и хотели качать. Но Агния Петровна не дала и сказала, что ему «вообще на сегодня хватит».

Все говорили о гимназии, когда, проводив Павла Петро-

вича, я вернулась в столовую, и Рубин, который снял куртку (оказалось, что у него на ремне висит маленькая плотная кобура с револьвером), утверждал, что гимназия была хороша своей дисциплиной.

– А «Премудрость» еще висит в рекреационном зале? – спросил он. – «В войнах и тишине храня премудры средства, копьем врагов разит, своих хранит от бедства».

И он объяснил, что «Премудрость» – это была картина, изображавшая богиню Минерву, поражающую копьем дракона. А под картиной были стихи, которые он прочитал. Я все смотрела на Рубина и думала, что он удивительно изменился. Как странно он говорит: с небрежным выражением, как будто над всем Лопахином и даже немного над нами у него была какая-то тайная власть. Впрочем, это только мелькнуло среди других мыслей, из которых самая главная была: «Не хочу я провожать Митю к Глашеньке. Что я за провожатая! Попросил бы Андрея. Не пойду, вот и все!»

Но это было уже невозможно.

Ничего не объясняя, Митя посмотрел на меня и вышел. Он посмотрел повелительно и вместе с тем умоляюще, как будто это было важнее всего на свете – бежать со всех ног к Глашеньке, которая, может быть, давным-давно и думать забыла о нем. Я шепнула Агаше, что скоро вернусь, и тоже вышла. Андрей с удивлением взглянул на меня.

Встреча

Ветер упал, чистая луна высоко стояла в морозном небе. Митя говорил без умолку. Я молчала, сердилась. Но иногда мне становилось смешно, потому что он то начинал неловко шутить со мной, как с маленькой (и тогда становилось видно, что он вообще не умеет обращаться с детьми), то переходил на неопределенно-взрослый тон, особенно когда я ему холодно отвечала. Например, он спросил, понравился ли мне Курочкин, и я удачно ответила, что нужно быть гением в психологии, чтобы судить о человеке с первого взгляда. Но Митя пропустил это замечание мимо ушей и стал рассказывать, что Курочкин – один из ближайших учеников известного профессора Красовского, но что когда-нибудь его заубит лень, потому что по духу – это «гений и беспутство».

Он шел быстро – шинель развевалась, большие уши шлема откидывались – и нисколько не замечал, что я едва поспеваю за ним.

– Где она служит? – вдруг спросил он. – Ах да, ты сказала, в школе для взрослых. А старики?

– Родители? Они убежали.

– Как убежали? Уехали?

– Да, уехали.

– Куда же?

– Не знаю, кажется, на Дальний Восток.

В Лопяхине говорили, что Глашенькины родители уехали к белым, но я не стала передавать Мите эти слухи.

Ему могло показаться странным, что я так хорошо знала все, что касалось Глашеньки Рыбаковой. Можно было подумать, что ее судьба интересует меня.

Глашенька жила в последнем доме на Развяжской, а дальше начиналось Поле жертв революции, бывшее Стрелецкое, на котором стоял памятник лопяхинцам, погибшим во время Гражданской войны. Поле было снежное, голубое. Какой-то закутанный человек медленно шел через поле – должно быть, по целине. Тропинки были занесены давешней вьюгой.

– Танечка, лучше, если зайдете первая вы. Я подожду, да?

Было так светло, что я видела у Мити на щеке дрожащую жилку, как у Агнии Петровны, когда она волновалась. Я тоже волновалась.

– Митя, очевидно, вы думаете, что мы хорошо знакомы? Между тем я не уверена даже, узнаем ли мы друг друга.

Я хотела сказать, что Глашенька едва ли узнает меня, но это показалось мне обидным, и я повернула таким образом, что я тоже могу ее не узнать.

– Тонечка!

– Простите, Митя, но мне пора домой.

– Подождите же хоть пять минут! Окна темные, наверно, ее нет дома.

Как будто в моих руках было счастье его жизни – так горя-

что он стал убеждать меня, чтобы я подождала! Зачем я была ему нужна? Не понимаю. Если бы уж так была нужна, он мог бы, кажется, запомнить, как меня зовут, а не называть «Тонечка». Наконец я согласилась подождать пять минут – ровно! – и он мигом повернулся и, как буря, ворвался во двор.

В Лопахине всегда ложились рано, а уж в те годы – особенно рано, и Глашенькины хозяева видели, должно быть, второй сон, когда Митя взбежал по заскрипевшим ступеням, оглушительно загремел чем-то в сенях, наверно ведрами, а потом чуть слышно постучал в двери.

Очевидно, его спросили: «Кто там?» – потому что он ответил:

– Извините. Могу я видеть Глафиру Сергеевну?

Тогда спросили: «Вы кто?» или что-нибудь в этом роде, и он ответил:

– Старый знакомый Глафиры Сергеевны.

Желтый огонек вспыхнул и погас за мутным, замерзшим стеклом. Снова вспыхнул – зажгли свечу. Я волновалась. Дома ли Глашенька? Да мне-то что за дело?

Глашеньки не было дома, и Мите наконец сообщили об этом, так и не открыв дверей, хотя свеча ходила туда и сюда, – должно быть, хозяева колебались, открыть или нет. Митя с громом скатился с крыльца, хлопнул калиткой и мрачно сказал мне:

– Пошли.

Еще прежде я заметила, что человек, который давеча шел

через поле, – женщина, и эта женщина направляется прямо ко мне или к дому, подле которого я тогда стояла одна. Потом я забыла о ней, а теперь снова вспомнила, потому что Митя, выбежав из калитки, вдруг остановился и стал смотреть на эту женщину, которая была еще довольно далеко от нас. Не знаю, кто прежде догадался, что это Глашенька, – кажется, я, потому что сразу же взглянула на Митю, а у него еще было мрачное лицо с недовольно поднятыми бровями – еще сердился, что не застал Глашеньку дома. Но вот узнал и он! Боже мой! Он сделал шаг и замер. Мне показалось, что я слышу, как бьется его сердце. Он стоял в распахнутой шинели, стремительный, бледный, вдруг растерявшийся, вдруг похудевший.

А Глашенька-то! Она и думать не думала, кто ждет ее! Она шла медленно и думала, без сомнения, о чем-нибудь самом обыкновенном. Заметив нас, она пошла еще медленнее: должно быть, незнакомые люди подле дома испугали ее.

Это было так долго – она шла, а мы стояли и ждали, – что мне стало казаться, что не только мы, а весь город, притаившийся под снегом, в котором бесшумно пропадали шаги, ждет ее и волнуется: как они встретятся, что сейчас будет?

– Глашенька!

Она остановилась, вздрогнула, и первое движение, первое чувство было – бежать! Но она еще не верила и, кажется, только поэтому не трогалась с места.

– Глашенька, ты не узнала меня?

Таким полным, сильным голосом она крикнула: «Митя!» – так рванулась к нему, с такой тоской, с таким трепетом протянула руки, что я сама, чтобы не заплакать, поскорее крепко закрыла глаза... Почудилось ли мне, что она хочет стать перед ним на колени? Не знаю. Митя подхватил ее.

Ух, как я пустилась бежать! Со всех ног, даже сердце зашло и закололо в боку, и пришлось немного постоять на углу Карла Либкнехта и Развяжской. Пусто было в городе, пусто и светло от луны; низенькие дома стояли под крышами из толстого снега, и все было так, как будто ничего не случилось. Люди спали в домах, не зная, как загадочна, необыкновенна любовь! Я пролетела улицу Карла Либкнехта, потом Вечевую площадь и свернула на Ольгинский мост. Часовой в огромной бараньей шубе с удивлением посмотрел на меня.

Слушайте, все люди, мужчины и женщины, те, которые узнали, что на свете бывает любовь, и те, кто поверил этому и кто не поверил, и те, кто в эту ночь, в этот час не знают, что делать со своей душой: никогда никого я не буду любить! Слушайте, те, которые в семнадцать лет идут по городу ночью и видят свет луны, волшебно изменяющей мир: никогда никого я не буду любить!

Я шла очень быстро и разговаривала с собой, горько каялась, что вчера кокетничала с Володей Лукашевичем из выпускного класса, и клялась, что этого больше не будет, и, лишь перейдя Ольгинский мост, вспомнила, что уже скоро два года, как мы переехали из посада в город. Мне стало

смешно – так забыться из-за какой-то любви!

Очень медленно, чтобы успокоиться, я сказала вслух:

– Любовь есть ничтожный эпизод в истории органической жизни земли.

И побежала домой.

Друзья

Что-то изменилось с приездом Мити, как изменялось всегда – и в прежние, далекие времена. Но теперь это была другая перемена – без сомнения, потому, что он сам стал совершенно другим. Теперь это был взрослый человек, военный врач, вернувшийся на родину, в прекрасном кожаном костюме, который подарил ему командующий дивизией за посадку раненых под жестоким обстрелом.

Митя приехал не один, а с Рубиным, который служил в Реввоенсовете Первой Конной, а теперь был назначен директором лопахинского кожевенного завода, с Курочкиным, о котором Андрей сказал, что этот доктор командовал полком и участвовал в штурме Перекопа. Узкая горная дорога почему-то представлялась мне, когда я слышала эти слова – «Реввоенсовет», «Перекоп». Чуть позвякивая шпорами, оружием, молчаливые конники едут по этой дороге – едут, переговариваются не спеша, – и ни слова о том, что поперек дороги легли, скрещиваясь, черные, грозящие гибелью тени...

Разумеется, это можно объяснить простым совпадением, но никогда еще в нашей школе не было так много принципиальных объяснений, разговоров, неожиданных ссор – словом, всего, что нарушает равномерное течение жизни, как в эти дни, после приезда Мити. Мы уговорили его выступить в «Клубе старой и молодой гвардии» с докладом о нэпе, и он прекрасно объяснил, что такое нэп и почему он необходим на данном этапе. Правда, иногда Митя немного хвастал, без всякого повода упоминая о своем участии в Гражданской войне, но все-таки его рассказами можно было заслушаться, и все заслушивались, особенно я.

После его лекции мы долго спорили о том, как нужно вести себя в условиях нэпа.

Мы – это были Андрей, Гурий Попов, Володя Лукашевич, Нина Башмакова и я.

Случалось ли вам видеть групповые портреты, на которых художник стремится изобразить несколько человек, объединенных общей профессией или общим стремлением к цели? Вот такой портрет нашей компании я вижу удивительно ясно, и не только фигуры и лица, с их разнообразным выражением молодой мысли и молодых, искренних чувств, но и фон – высокий берег Пустыньки, с которого далеко открывалась наша Тесьма, освещенная первыми лучами солнца, только что скользнувшими где-то высоко, а теперь опустившимися прямо на нас. Та ночная прогулка и раннее утро на Пустыньке навсегда запомнились мне. Но я забегаю вперед...

Андрей – вот кто был главным в нашей компании. Он стал теперь плотным, крепкого сложения молодым человеком, неповоротливым, но сильным, и к этой силе забавно примешивалась доброта, которую он как бы скрывал и сдерживал, когда она открывалась.

Мы очень интересовались в те годы «познанием природы вещей». Андрей первый объявил, что в основе всех вопросов должно лежать революционное мировоззрение, и, выступив в школе с докладом «Происхождение жизни на Земле», объяснил, почему в данном вопросе правы материалисты.

Революционное мировоззрение в теории и на практике волновало нас больше всего. Соответствует ли мировоззрению то, что я живу с мамой, которая заведует пошивочной мастерской Церабкоопа, а не зарабатываю сама, хотя и могла бы, поскольку мне уже шел восемнадцатый год? На практике, в жизни, я обходила этот вопрос. Но в глубине души он все-таки беспокоил меня, между прочим, еще и потому, что отчасти перекликался с вопросом о том, как должен вести себя активист в условиях нэпа.

Нина Башмакова – это была моя лучшая подруга – считала, что нэп даже полезен для мировоззрения, поскольку он является испытанием – и, возможно, самым легким из тех, которые нам еще предстоят. Вообще Нина была принципиальнее, чем я. Меня она ругала за гордость, за сдержанность, за скрытое кокетство и главным образом за «розовые очки», то есть необоснованный оптимизм. Таким образом, у меня

было много поводов для угрызений совести, а у нее только один: ее мучило, что она никак не могла понять, есть ли уже у нее мировоззрение или еще нет, и когда наступает минута, после которой человек может определенно сказать, что у него «сложились самостоятельные взгляды на мир».

Андрей велел ей прочитать книгу «Мировые загадки», но только я одна знала, что это чтение остановилось на словах: «Итак, приступая к предмету...»

Гурий Попов – вот о нем можно было без всякой иронии сказать, что у него сложились самостоятельные взгляды на мир.

Это был черный, вспыльчивый, похожий на негра юноша, без которого в Лопяхине не обходилось ни одно общественное дело. Он был в ЧОНе (часть особого назначения), когда белые подходили к Лопяхину, несмотря на то что ему тогда едва исполнилось четырнадцать лет.

Замечали ли вы, что в каждом групповом портрете кто-нибудь стоит в стороне, как бы прислушиваясь к тому, чем глубоко заняты другие? Его смутную фигуру лишь с трудом можно отличить от фона, на котором написан портрет. Таков был Володя Лукашевич, о котором Гурий как-то с досадой сказал, что если Володю посадить в землю, то через неделю пробьются зеленые веточки, а еще через две – на веточках появятся почки. Но это вовсе не значило, что Володя был деревянный, как бывают люди с какой-то деревянной душой.

Он действительно был близок к природе – быть может, тем, что в нем никогда не чувствовалось ни малейшего напряжения, и он почему-то был нужен всем, а сам неизменно оставался в тени. Володя был русский, высокий, с ровным румянцем, вечно гудевший басовые партии. Он играл в школьном оркестре на геликоне – так называется очень большая труба.

В журнале «Юный пролетарий» он больше всего любил читать отдел «Комсомол – шеф Красного флота». С детских лет Володя решил стать моряком.

И вот эта чуждая компания, эти друзья, которые то и дело строили планы, каким образом мне перешагнуть через класс, чтобы вместе с ними поступить в институт, объявили, что они больше не желают знать меня и встречаться со мной.

Голосу «против»

Эта история началась с того, что в нашей школе освободилось место преподавателя географии и Глашенька Рыбакова подала заявление о том, что из школы для взрослых она хочет перейти в нашу школу.

Это было еще до приезда Мити, и тогда ее желание не встретило ни малейших возражений, тем более что педагоги получали сравнительно небольшой паек. Вот почему мы были поражены, когда Нина Башмакова, которая жила в одной квартире с француженкой, очень взволнованная, прибежала ко мне и объявила, что на школьном совете Глашень-

ку решено провалить. В нашей компании никто до сих пор не интересовался Глашенькой. Но провалить ее – это было несправедливо! И Гурий предложил выступить в ее защиту на школьном совете.

Прежде всего он предложил «изготовить мандаты». Володя Лукашевич, Гурий и я были представителями учкома в совете, и до тех пор никому не приходило в голову проверять наши мандаты. Но Гурий сказал, и Ниночка помчалась и достала четыре листа великолепной бумаги: три для нас, а четвертый для председателя домового комитета.

Была и вторая задача: привести на школьный совет председателя домового комитета. По какому-то закону, о котором мы впервые узнали от Гурия, право решающего голоса имел еще председатель домового комитета. Наша школа помещалась в бывшей прогимназии Кржевской, но во время революции Отнаробраз несколько классов отдал под квартиры, и в школьном здании образовался домовый комитет.

Председателем его был тот самый горбатый чиновник, который некогда приходил в гости к Агаше. Теперь он служил в продовольственном отделе. С моей точки зрения, его не следовало приглашать, потому что он был неприятный тип, ко всему на свете относившийся с необъяснимым злорадством. Но Гурий возразил, что вопрос принципиальный и что математик Шахунянц, например, тоже является неприятной личностью, однако это обстоятельство, к сожалению, не лишает его права подать свой голос против Глашеньки на школьном

совете. И Гурий быстро сбегал к бывшему чиновнику и, вернувшись, сказал, что тот согласился прийти.

Это очень трудно – хотя бы в самых общих чертах нарисовать заседание совета Лопяхинской единой трудовой школы II ступени. Еще труднее поверить, например, тому, что школьные занятия казались нам каким-то придатком ко всякого рода кампаниям, заседаниям, вечерам, к работе комсомольской ячейки – словом, ко всему, что составляло главное содержание нашей жизни.

Заседание совета, на котором решалась судьба Глашеньки Рыбаковой, происходило в швейцарской – самое теплое место в школе, – и, помнится, перед Глашенькиным вопросом было два других – «дрова» и «танцульки».

Дрова – это был важный вопрос. У Лопяхина с осени стояли баржи с дровами, и Гортоп предлагал за выгрузку одной сажени четыре фунта хлеба, фунт рыбы и сто миллионов дензнаками 1921 года. Француженка взяла слово и объявила, что она, с ее больным сердцем, не в силах выгрузить даже один грамм. В ответ выступил Гурий и разъяснил, что выгрузка дров является общепролетарским делом и, следовательно, единая трудовая школа не имеет права от него уклоняться.

У нас был почтенный, седовласый зав с большой бородой, умевший все объяснить и всех примирить. В прошлом он был латинист, а потом, когда латынь отменили, стал преподавать историю материальной культуры, которую тоже отме-

нили, так что ему больше ничего не оставалось, как сделаться завоём. Он сказал, что Гурий и француженка одинаково правы. Итак, *tertium non datur* – третьего не дано. Но школа потребует деньги и рыбу вперед, и тогда третье появится, ибо на полученное вознаграждение можно будет нанять людей, которые исполняют работу.

Следующим вопросом были «танцульки» – так назывались танцевальные вечера, которые устраивались у нас по меньшей мере три раза в неделю. Что делать? Математик Шахунянц – сердитый старик с запавшими, горящими глазами – взял слово и сказал, что он знает, «что делать»: после занятий нужно немедленно запирает школу на ключ. На днях он спросил ученика выпускного класса, сколько $a + b$ в квадрате, и тот ответил $2ab$. В школу нужно ходить, чтобы учиться, а для танцев есть общественные места.

Я молчала, потому что на этих «танцульках» мы с Ниной всегда были первые. Но Гурий возразил, что запирает школу на ключ нельзя, потому что единая трудовая школа должна быть открыта для учащихся днем и ночью. Что касается «танцулек», то с ними, по его мнению, нужно бороться с помощью больших кинофильмов, не меньше чем в двух сериях, причем обе должны идти непременно в один сеанс! Тогда на «танцульки» не останется времени, и ребята, как правило, должны будут отправляться спать.

В заключение он сказал, что «призраки прошлого еще реют над школой», и мне представился старый, небритый Ша-

хунянец, который, сморкаясь, летит над школой в распахнутой шубе.

Словом, это была блестящая речь, но, к изумлению оратора, она не произвела особенно сильного впечатления на школьный совет, и «танцульки» решено было ограничить одним воскресным вечером в неделю.

Бывший чиновник пришел, когда прения по поводу Глашеньки были в полном разгаре. Он приделся и выглядел очень прилично в высокой котиковой шапке и пальто с бобриковым воротником.

Зав посмотрел на него вопросительно, очевидно подумав, что чиновник пришел по ошибке. Но тот сел как ни в чем не бывало, злорадно откашлялся и зачем-то положил на стол свой мандат.

Это была неприятная минута; педагоги взяли мандат и стали его рассматривать, передавая из рук в руки. Француженка иронически-злобно засмеялась. Нужно было спасти положение, и Гурий опять сказал речь – на этот раз неудачную, но не по содержанию, а потому, что почувствовалось, что он стремится исправить неловкость этого неприятного типа, которого – я была права – незачем было приглашать на совет.

– Я считаю, что подобное заявление, поступившее от Глафиры Сергеевны Рыбаковой, знающей два языка, – сказал Гурий, – является честью для нашей школы.

Я видела, что француженка просто кипит, – мне даже ка-

залось, что от нее идет пар и слышно бульканье и шипенье. Гурий кончил. Француженка взяла слово. Она поблагодарила Глашеньку за «неслыханную честь». Относительно двух языков она сказала, что от души рада за товарища Рыбакову, хотя и не видит прямой связи между знанием иностранных языков и географией родной страны. Тут она сделала подлый намек на Глашеньку, назвав ее «особой», и хотя вообще в этом слове не было ничего особенного, но в данном случае оно прозвучало подло.

Мне кажется, именно в эту минуту у меня наступило то странное состояние духа, которое я даже не знаю, как объяснить, и которое еще и теперь иногда бывает у меня, но с каждым годом все реже: как будто время останавливается и все вокруг себя я начинаю видеть в новом, неожиданном свете. Барышня в беленьком полушубке явилась предо мной как наяву, румяная, нежно-хрупкая, с большими глазами. Она стояла на дворе у Львовых и вытряхивала из рукавички записку. Митя выбежал к ней, взволнованный, без шинели. Он гордо вел ее, она шла улыбаясь, и они были полны той любви, перед которой у меня занялось дыхание.

И другая Глашенька вспомнилась мне – та, которая зимним вечером явилась к нам вместе с холодом и звонким побрякиванием упряжи на разлетевшейся тройке. Забившись в мамину постель, я смотрела, смотрела на тонкие руки, сжимавшие голову, на волосы, рассыпавшиеся по рукам, на мрачное лицо с широко открытыми глазами. «Поздно, – вот

что говорило это лицо. – Теперь у меня перед глазами заблестело золото, засверкали бриллианты»...

– Удовлетворим ли мы просьбу Глафиры Сергеевны Рыбаковой? – услышала я как во сне. – Кто «за» – поднимите руки.

«За» был Гурий, один из учителей, бывший чиновник и Володя. У француженки стало торжествующее выражение лица, и все уставились на меня, потому что я не подняла руку. Это было ужасно. Рука висела и была очень тяжелая, и, наверно, я сошла с ума, потому что мне одновременно и хотелось поднять ее и не хотелось.

Гурий посмотрел на меня долгим презрительно-укоряющим взглядом, и через минуту все кончилось. Глашенька провалилась.

Зав, который, между прочим, воздержался, объявил об этом с сожалением.

– Сомневаясь, приходим к истине, – сказал он. – Ходатайство отклонено.

Когда мы выходили из школы, Гурий догнал меня:

– Одну минуту.

Я обернулась. От волнения у меня задрожало лицо, но я сразу же справилась и даже гордо откинула голову, как будто мне было глубоко безразлично то, что я услышу сейчас. Если бы безразлично!

– Вот что, – холодным голосом сказал Гурий, – ты поступила подло, и мы объявляем тебе бойкот.

Думаю

Из школы я забежала в Дом культуры: мне нужно было спешно посмотреть слово «бойкот» в энциклопедии Брокгауза и Ефрона. Сидя на полу в библиотеке, я читала статью об этом слове, когда Агния Петровна налетела на меня, пощупала лоб и руки, сказала, что жар, и прогнала домой.

Это было очень странно, но ничего не переменилось в нашей комнате, несмотря на то что я совершила подлость, причем общественную, а не личную, поскольку я была обязана предупредить ребят, что голосую «против». Кошка сладко спала в кресле – ей было все равно, что Гурий объявил мне бойкот. Часы за стеной у Марии Петровны захрипели, долго собирались пробить и не пробили, успокоились – так было вчера и третьего дня. Уходя, мама оставила на столе картошку и нож, чтобы я почистила – она не любила картошку в мундире. Все как было! Что же случилось со мной?

В энциклопедии было сказано, что такое бойкот. Так звали, оказывается, какого-то капитана, который заявил, что не будет платить арендных денег за землю, и тогда «земельная лига» приказала местным жителям – это было в Ирландии – «забыть о его существовании». Почтальоны не носили ему писем, ни один человек не здоровался с ним, от него ушли рабочие и домашняя прислуга, и в конце концов сам Господь Бог послал убийственный град на его поля, – стало быть,

даже Бог интересовался, внес ли капитан арендные деньги. Но ведь это были деньги, из-за которых – даже странно было подумать – некогда объявляли бойкот! А в данном случае это было неправильно, хотя бы потому, что Гурий должен был прежде выяснить мотивы, по которым я голосовала «против», а уже потом объявлять бойкот. Но хорошо, что он не стал выяснять эти мотивы! Все равно я не могла бы выразить их теми обыкновенными словами, которыми мы всегда говорим.

Я шагала по комнате и думала, думала... Итак, я подлец, и мне объявили бойкот. По каким же мотивам голосовала я против Глашеньки? Я не люблю ее? Не знаю. Правда, встречая ее, я всегда переходила на другую сторону улицы, хотя Глашенька все равно не узнавала меня. Но мне просто неприятно видеть ее такой нерешительной, робкой, в этом странном пальто из клетчатой шали. Мне было жалко ее, пока не приехал Митя.

Пока не приехал Митя? Эта мысль поразила меня.

«Да, – продолжала я думать, как будто распутывая в душе какой-то клубочек, в котором была спрятана тайна. – Мне не понравилось, что он побегал к ней в первый же вечер, оставив даже гостей, что было вообще неприлично. Но мало ли что еще не понравилось мне. Он должен был, например, спросить меня, как я живу, как учусь. Он не должен был называть меня Тонечкой, как будто я ребенок, о котором можно не думать – обидится он или нет.

Когда мы сломя голову бежали на Развяжскую, он мог бы не рассказывать о Курочкине – просто так, чтобы о чем-нибудь говорить, а хотя бы вспомнить то время, восемнадцатый и почти весь девятнадцатый год, когда Львовы голодали и мы с мамой ездили по деревням, меняя на продукты мебель и разные вещи. Юлий Генрих Циммерман уехал в Париж, и Агния Петровна отдала Музотделу все его инструменты, но одно пианино осталось, и мы с мамой очень выгодно обменяли его на крупу. Нам пришлось взять в свои руки все хозяйство в „депо“ – об этом-то Митя мог бы сказать хоть слово!

Но при чем же здесь Глашенька, боже ты мой?»

Мама пришла сердитая и сказала, что у станции Ашево бандиты напали на почтовый поезд. Мы ужинали, и она все говорила об этой истории, хотя ничего особенного не произошло: почтовые служащие отстрелялись.

...День прошел, и даже Андрей не заглянул ко мне, а он-то, без сомнения, давно уже знает все от Гурия или от Нинки! День прошел – вот и мама ложится. Сейчас она погасит свет и уснет, и я снова останусь одна и снова буду думать – о чем? Я уткнулась в подушку и немного поплакала – тихонько, чтобы не слышала мама.

Где я читала, что усилием воли можно заставить себя уснуть? Я постаралась в душе сделать это усилие. Не знаю, помогло ли оно, но я стала засыпать – уже смутно услышала скрежет ключа в замочной скважине и грузные шаги Надежды Петровны по коридору. «Как хорошо, что кончился этот

день!» – подумала я, а почему хорошо, уже не могла вспомнить, забыла.

И вдруг сон пропал. Поджав ноги, я села на постели и прислушалась. Но все было тихо вокруг, я снова легла, и тогда кто-то точно взял меня за руку и привел к домику, где жила Глашенька на Развяжской. Темные окна отсвечивали под лунной. По снежному голубому полю медленно шла Глашенька, и мы с Митей ждали ее. Как это было страшно, как стыдно, что она хотела встать перед ним на колени! Как томительно отозвался во мне этот крик, полный тоски и счастья и еще какого-то непонятого чувства, от которого мне захотелось убежать куда глаза глядят, чтобы ни один человек на свете в ту минуту не увидел меня...

Всю ночь я ворочалась, читала, старалась уснуть, ела холодную картошку, долго стояла в одной рубашке у окна, за которым была ночь, и ночной снег, и ночное зимнее небо. Потом пришел день, очень грустный, потому что заболела мама.

С утра она еще храбрилась, даже задумала перетопить прогорклое масло и чуть не устроила пожар, пытаясь вопреки законам физики смешать масло с соленой водой. Но часам к двенадцати села на кровать, очень бледная, и сказала, чтобы я сбегала в швейную мастерскую предупредить, что сегодня она не придет. Я побежала, но сперва к доктору Беленькому, который всегда лечил маму, а потом в мастерскую.

Был прекрасный воскресный полдень, солнце сияло так, что на снег было больно смотреть, и уже весна чувствовалась в этом теплом сиянии, а я шла несчастная-пренесчастливая и думала о том, что у меня странная душа, в которой не помещаются огорчения. Из моей души они всегда почему-то торчат, и все видят их хвостики и видят, как мне хочется, чтобы огорчения кончились поскорее. И я мысленно спрятала хвостики и сделала непроницаемое лицо – очень кстати, потому что в эту минуту из-за угла выскочила и вприпрыжку побежала ко мне навстречу Леночка Бутакова.

Я училась тогда во втором классе второй ступени, а вся наша компания в третьем. Леночка тоже училась в третьем, но она была еще такая маленькая, что играла в куклы и читала «Голубую цаплю», о которой сказала мне однажды, что это самая хорошая книга на земле и она не понимает, как можно написать еще лучше. И вот эта Леночка, на которую мы смотрели как на ребенка, подойдя ко мне, закинула голову и, не здороваясь, прошла мимо как ни в чем не бывало.

Все ясно! Не только Гурий, весь третий класс презирает меня. Скоро я не смогу показаться не только в школе, но просто на улице, если от меня осмелилась публично отвернуться даже эта маленькая Леночка Бутакова.

От волнения я пробежала мимо Власьевской, на которой жил доктор Беленький, и вернулась, стараясь издалека рассмотреть, не идет ли еще кто-нибудь из третьего или нашего класса. У доктора был маленький сын, и, когда он открыл

мне дверь, я стояла несколько мгновений молча, как дура, точно этот мальчик лет десяти, весь в чернилах, тоже мог показать, что он презирает меня. Но мальчик только втянул носом воздух и сказал, что папы нет дома.

Одним духом пролетела я Власьевскую – на этой улице была городская библиотека. Не глядя ни на кого, пробралась я через толпу мальчишек и девчонок, стоявших в очереди у кино. Расстроенная, взволнованная, забежала в швейную мастерскую, сказала, что мама больна, и вышла черным ходом, чтобы попасть не на улицу Карла Либкнехта, а на Овражки.

Солнце зашло, деревья на Овражках стояли некрасивые, черно-голые, снег потускнел и лежал не блестя. Вот такая же потускневшая, скучная я вернулась домой и на лестнице догнала Андрея.

Он принес новый номер «Юного пролетария», в котором была интересная статья, и не менее получаса мы говорили об этой статье, как будто ничего не случилось. Потом Андрей осторожно сказал, что вчера Гурий просидел у него целый день. Они спорили. Я спросила: «О чем?» – он ответил:

– Об антропоцентризме.

Я тогда не знала, что это идеалистическая теория, согласно которой человек считает себя центром вселенной, и не поняла, какое отношение имеет антропоцентризм ко мне. Но на всякий случай я сказала иронически:

– Вот как!

Мама охала и кряхтела за ширмой, и Андрей сказал, что он попросит Митю зайти, чтобы посмотреть ее. Я поблагодарила.

Потом спросила небрежно:

– Итак, что ты думаешь об этой истории?

– Я думаю, – серьезно сказал Андрей, – что это трагедия.

Мне захотелось спросить: для кого трагедия, для меня или Глашеньки? Но я не спросила.

– Вот как? Почему же?

– Потому, что Митя может бросить ее, – продолжал Андрей. (Значит, для Глашеньки.) – И тогда будет лучше, если она останется в нашей школе, а не в школе для взрослых.

Почему лучше, это было неясно. Но другое поразило меня.

– Как бросить?

– Очень просто. Кончится отпуск, и Митя уедет – возможно, даже в Москву. Ты уверена, что он возьмет ее с собой? У него там, между прочим, нет квартиры. И вообще, мне кажется, для нее было бы лучше, если бы она не любила его.

– Почему?

– Потому, что тогда она казалась бы ему загадкой. Он давно разлюбил бы ее, если бы она не убежала с Раевским.

– Какая ерунда!

– Нет, не ерунда, – медленно возразил Андрей, – я бы тоже давным-давно ее разлюбил.

– Ты?

– Да, я. Ведь это только кажется, что мы с Митькой не похожи.

Я закричала:

– Ого-го!

– Так могла бы ответить и лошадь, – сказал Андрей. – У нас семейное сходство. Я прежде не думал об этом, а теперь часто думаю, особенно с тех пор, как он приехал. Насчет бойкота я тоже буду думать – вот только еще не знаю когда.

– Ах вот как? Еще не знаешь когда. Это прекрасно.

Андрей помолчал.

– Бойкот – это вообще устаревшая форма. Так что я считаю, что Гурий принципиально не прав, – сказал он. – Другое дело, если бы он согласовал свою точку зрения с ячейкой. Послушай, а ведь я понял, почему ты голосовала «против».

Мама опять закричала – как раз в ту минуту, когда я собралась сказать Андрею, что он понял то, чего я не понимала сама.

– Из-за Америго Веспуччи, – сказал Андрей, – и я считаю, что с этой точки зрения ты была совершенно права. Преподавательница географии обязана знать подобные вещи.

Америго Веспуччи? Я едва успела сделать значительное выражение лица.

– Но остается неясным, почему ты не предупредила ребят. Я объяснил это так: ты забыла об этом и на заседании вспомнила. Спыхватилась, но поздно, а пойти против совести не могла.

«Забыла об этом»? Я чуть не спросила: о чем?

– А ты в данном случае пошел бы против совести, вот скажи?

– Нет.

– Ну вот. Тогда за что же, – сказала я с горечью, – Гурий объявил мне бойкот?

Уставясь на меня, Андрей замолчал, и я увидела по его глазам, что он мысленно удаляется от меня, от этой комнаты, от нашего разговора.

– Что такое бойкот? – наконец спросил он. – Вынужденное одиночество, верно? Однако Робинзон Крузо тоже находился в вынужденном одиночестве – и что же? Это только обострило его способности, кстати сказать, очень средние, поскольку он, вообще говоря, был человеком средним...

В конце концов мне удалось выудить у него историю с Америго Веспуччи. Оказалось, что в школе для взрослых один из слушателей спросил Глашеньку, кто открыл Америку, и она сказала, что Америго Веспуччи, а то, что это была именно Америка, а не Индия, доказал Колумб. Конечно, это было просто смешно, что с подобными знаниями Глашенька хотела преподавать географию в семилетке, которая дает право на поступление в вуз! Если бы я раньше знала об этом факте – да кто же может сомневаться, что я голосовала бы «против»? Все возвращалось на свое место, и, когда мы с Андреем прощались, мне уже казалось, что нет на свете девушки честнее и благороднее, чем я...

Разговор с Глашенькой

Мы вышли вместе, потому что мама просила меня зайти в кооператив и в аптеку, и, возвращаясь, я все думала о том, насколько серьезнее Андрей относится к жизни – безусловно, искреннее и серьезнее, чем я! Он правдивый и внутренне отвечает перед собой, а я, очевидно, не отвечаю, иначе не схватилась бы за этого Америкго, в то время как в глубине души...

Но я не успела на этот раз заглянуть в глубину души, потому что, войдя в переднюю, услышала голоса и мигом поняла, что у нас Глашенька и Митя.

Это было странно, что он пришел с Глашенькой, и я только потом догадалась, что просто он повсюду ходил с нею – вот так же явился и к нам. Они только что сняли пальто и здоровались с мамой – оба молодые, красивые, румяные, точно умывшиеся снегом, – кажется, в целом мире невозможно было подобрать лучшую пару.

Я не помню, чтобы прежде Митя был так весел, так разговорчив, так любезен, – можно было подумать, что ему немедленно нужно завоевать уважение и даже восхищение мамы.

Он сделал вид – это было особенно мило, – что пришел не для того, чтобы посмотреть маму, а просто в гости. Каждую минуту он называл ее по имени-отчеству, а меня – Танечка, причем не ошибся ни разу. Мама спросила его, надолго ли

он в Лопухин, и он отвечал, что пробудет еще недели две, а потом поедет в Москву, потому что на фронте сделал одну работу по сыпному тифу и его пригласили в научно-исследовательский институт. На этот раз он нисколько не хвастался. Очень весело он рассказал, как на какой-то станции попал в плен и ему удалось не только самому убежать – это было нетрудно, – но и перегнать на нашу сторону белый санпоезд.

– Правда, пришлось по-дружески поговорить с начальником поезда, – сказал он и живо обернулся ко мне. – Танечка, вы не играете в шахматы? Так вот – он оказался в цейтноте. Я показал ему револьвер, он немного подумал и согласился, что проиграл...

Но не для нас с мамой была эта вежливость, и стремление очаровать, и веселая энергия, с которой он рассказывал о своих приключениях, а для той, которая молча сидела за столом и, как кукла, поворачивала большие глаза то к маме, то к Мите. Точно что-то хрупкое, построенное, похожее на карточный домик было у нее в душе, и она старалась не очень шевелиться, боясь, как бы не упал этот домик. Я смотрела на Глашеньку и сердилась, но не на нее, а на себя: за то, что мне было не все равно, какая она и почему не смеется, а лишь едва улыбается в ответ на Митины шутки.

Между тем Митя очень ловко перевел разговор на медицину, рассказал о том, как, занимаясь сыпным тифом, он сам захворал и чуть не умер, и, когда мама стала жаловаться на свои болезни, вдруг сказал весело:

– Да, кажется, у меня стетоскоп с собой!

И вытащил из кармана пальто стетоскоп.

Вот когда я пожалела, что Андрей не предупредил, когда Митя зайдет, чтобы послушать маму! У нее действительно часто болело сердце, но я была уверена, что это нервная болезнь, связанная с ее увлечениями, о которых я, разумеется, не могла говорить при маме. Например, в 20-м году, когда мы только что переехали на Михайловскую и в доме не было ничего, кроме сушеных овощей (так что мне приходилось каждый день класть в кастрюлю одинаковое количество палочек моркови, свеклы и репы), мама вдруг увлеклась кино.

Сперва все было хорошо, может быть, потому, что шли картины из иностранной жизни и мама оставалась равнодушной к страданиям чуждых ей «королев полусвета». Но потом содержатель кино нашел где-то в самом Лопахине много русских картин с участием Мозжухина и Веры Холодной, и мама так увлеклась, что ни о чем больше не могла ни думать, ни говорить. Каждый вечер, возвращаясь из кино, она приглашала Марию Петровну и Надежду Петровну и, помолодевшая, повеселевшая, с воодушевлением рассказывала очередную фильму – тогда говорили не фильм, а фильма. Особенно сильные сцены она изображала в лицах и однажды чуть не выбросилась через окно, играя Лисенко в «Не подходите к ней с расспросами...» – это была знаменитая фильма.

Это повторилось совсем недавно, когда мама вдруг затосковала по Петрограду, по Нарвской заставе, вообще по тем

годам, когда она работала у мадам Бризак за восемь с половиной в месяц. Я стала доказывать, что это политическая незрелость, но она ответила: «Ах, Танечка, ты не понимаешь, я была тогда молода!» Давным-давно она не вспоминала о Василии Алексеевиче Быстрове, а тут вдруг села писать ему на Путиловский завод и рассердилась, когда я стала подшучивать, что этот загадочный Василий Алексеевич, наверно, был в нее когда-то влюблен. Две недели только и было разговоров о том, что летом мама возьмет отпуск, поедет со мной в Петроград и найдет Василия Алексеевича, который теперь, после революции, по маминому мнению, должен был стать по меньшей мере председателем горсовета.

Но вот кончилось и это увлечение, и в несколько дней мама так изменилась, что ее стало трудно узнать. Скучная, усталая, она бродила по комнате и жаловалась на сердце. Какой-то врач велел ей прикладывать к сердцу блин из белой глины, и каждый день она прикладывала этот блин, но сердце не проходило.

Вот о чем мне непременно нужно было рассказать Мите! Но было уже поздно, потому что он сказал весело:
– А теперь я послушаю Наталью Тихоновну, а этих девушек мы попросим исчезнуть как дым.

Он ласково взглянул на Глашеньку и прибавил извиняющимся голосом:

– На десять минут.

Десять минут! Еще из передней услышав Глашенькин го-

лос, я решила, что даже если мне придется умереть, все равно я попрошу у нее прощения и расскажу обо всем. Но я не знала, что она будет сидеть молча и лишь едва-едва снисходительно улыбаться в ответ на Митины, такие остроумные, шутки. Я не знала, что у меня каждую минуту будет останавливаться от волнения сердце – от волнения и непонятого чувства, казавшегося мне ненавистью к Глашеньке – к Глашеньке, которая была не виновата ни в чем!

Словом, в ту минуту, когда мы вышли в переднюю и, небрежно оглянувшись, уселись на сундук, еще недавно принадлежавший прокурору судебной палаты, я почувствовала, что мне гораздо легче проглотить язык, чем произнести хоть слово.

– Глафира Сергеевна, – помолчав, пробормотала я сдавленным голосом, – я хотела сказать, что это я провалила вас на школьном совете. Я голосовала против вас, и как раз одного голоса не хватило.

Мне было бы легче, если бы она удивилась. Если бы хоть спросила меня – почему? Но она молчала, и только в глазах мелькнуло и скрылось осторожное мрачное чувство.

– Возможно, что это было подлостью, – продолжала я с отчаянием. – Но мне сказали, что в школе для взрослых вас спросили, кто открыл Америку, и вы ответили – Америго Веспуччи.

Глашенька засмеялась.

– И правда, я что-то напутала, – сказала она, – но это было

давно, в прошлом году. А что? Разве мое заявление обсуждалось на школьном совете?

Боже мой! Она ничего не знала! Перед собственной совестью я призналась, что лучшие друзья были правы, считая меня подлецом. Я не могла понять, что со мной, и наконец решила, что большего несчастья у меня не было в жизни. А та, из-за которой началась эта мука, поднялась эта буря, даже не знала, что ее заявление обсуждалось на школьном совете! Это было просто смешно, и я бы от души рассмеялась, если бы мне не захотелось заплакать.

– Вот хорошо, – сказала я очень спокойно. – А мы-то волнуемся! Значит, для вас это все не имеет никакого значения?

Глашенька закинула руки, зажмурилась, потянулась.

– На той неделе уезжаем в Москву, – сказала она. – Ох, как я рада, передать не могу! Надоел этот Лопахин противный, повернуться нельзя, сплетни на каждом шагу...

Я немного проводила Глашеньку и Митю и по дороге рассказала им о маминых увлечениях. Митя сказал, что это не беда, пускай увлекается, но сердце все-таки очень больное. Не ясно, отчего эти припадки, вроде сегодняшнего, – может быть, от повышенного кровяного давления? Нужно пойти в больницу и прежде всего измерить кровяное давление.

Я вернулась и стала пугать маму. Но она возразила, что у нее вообще нет и никогда не было кровяного давления и что, когда придет Мария Петровна, она попросит ее поставить

банки.

Дебют

В «Юном пролетарии» появилась статья «Член РКСМ не имеет права съесть кусок хлеба, если часть его не отдал голодающим». Мы обсудили ее, и Гурий предложил поставить спектакль в пользу Помгола. До сих пор мы устраивали только сборы, которые давали немного.

В Лопяхине не было театра, и приезжие актеры выступали в бывшем клубе Дворянского собрания, где теперь помещался Дом культуры. Но в двадцатом году к нам пришел паромход-театр «Красный волгарь». Тесьма была мелка для него, приходилось далеко идти по мосткам над водой, и мне запомнились эти дрожащие, прогибающиеся мостки, которые вели – трудно поверить! – в самый настоящий московский театр.

Шла трагедия «Коварство и любовь», но с переделанным концом, потому что заключительные слова президента: «Он простил меня» – противоречили идеологическому направлению спектакля. Вообще «коварство» было показано в более сильных красках, чем «любовь», очевидно, чтобы доказать, что самая высокая любовь гибнет, когда страной руководят подобные президенты. Спектакль был поставлен странно: занавеса не было, на полу лежало хорошее, почти новое сукно, и мне было жалко, что по нему ходили. Но все равно! В ка-

ком-то оцепенении смотрела я на сцену. Нина толкала меня, Гурий шепотом восторгался, уверяя, что такой постановки не увидишь даже в Москве, а я сидела неподвижная, похолодевшая...

Грузчики – большинство зрителей были грузчики – заволновались, стали шуметь и стучать ногами, когда президент приказал арестовать Луизу. Лишь тогда я очнулась от этого заколдованного сна.

Разумеется, мы не смогли рассчитывать на подобную постановку – со сложной бутафорией и тонкой психологической игрой. Театральный кружок, который мы с Ниной организовали в школе, никак не налаживался по разным причинам, самой важной из них была, по-моему, та, что все хотели играть главные роли. Но на этот раз мы дали слово беспрекословно слушаться Гурия как режиссера – это был выход из положения если не для нас, то для него, потому что он предложил нам поставить свою пьесу.

В пьесе главную роль должна была играть я, и, мне кажется, именно это незаметное на первый взгляд обстоятельство повлияло на оценку моего поведения на школьном совете. Впрочем, когда в городе узнали, что Глашенька едет с Митей в Москву, наша ссора стала какой-то бесцветной, хотя оказалось, что вообще это даже интересно – выяснять отношения и объявлять друг другу бойкот.

Я сказала, что Гурий предложил поставить пьесу. Но фактически это была не пьеса, а киносценарий – вот в чем за-

ключалась главная оригинальность его предложения!

Мы должны были играть молча, как в настоящем кино, а ведущий тем временем объяснял бы зрителям, что происходит на сцене. Ведущего играл, разумеется, Гурий. Это была самая большая роль, потому что объяснять приходилось много: на сцене происходили важные военные и политические события, которые очень трудно было изобразить при помощи одних только движений.

Но и у меня была интересная роль – женщины-героини Анны, которая остается в городе, занятом белыми, и выведывает их тайные планы, появляясь то в главном штабе, то у секретного телеграфа.

Конечно, мы не могли достать фанфар и другого реквизита; кроме того, многое в сценарии происходило при помощи каких-то театральных машин, о которых сам автор не имел никакого понятия. Но это не имело большого значения, поскольку Гурий доказал, что даже Шекспир, когда у него не было денег на декорации, выходил на сцену и говорил: «Лес» – если нужно было, чтобы зрители увидели лес, или: «Буря» – если по ходу пьесы происходила буря.

Весь апрель я разучивала свою чудную роль. Тогда у меня еще не было книги «Великие актеры и актрисы», и мне приходилось самой догадываться, какими движениями выражаются гордость, готовность к борьбе, надежда, угроза. Каждое утро, не произнося ни слова, я перед зеркалом «репетировала лицо», принимая разные выражения, соответствующи-

щие тем или другим местам моей роли. По мнению Гурия, это был лучший способ придать лицу артистическую «эластичность». Не знаю, удавалась ли мне эластичность, но мама всякий раз с ужасом смотрела на меня и говорила: «Свят, свят!»

Накануне премьеры Гурий объявил, что нужно «бросить все и уйти в себя с целью сосредоточиться на внутренней проверке своей готовности к роли». Для некоторых актеров, например для Нины, это оказалось нелегко, потому что она никак не могла определить, ушла ли она в себя или еще нет.

А для меня – легко. Бледная, похудевшая, я бродила по городу, и мне становилось то холодно, то жарко, то как-то торжественно – особенно когда я представляла себе почти бездыханную Анну, лежащую на холме среди дыма курящейся земли, в то время как в глубине сцены проходят радостные войска в парадных мундирах. Она погибает, свершая свой долг. Перед смертью она обращается к врагам со следующей речью: «Злодеи! Напрасно вы поднимаете руки к небу, которое отказалось от вас. Вы первые бросили нам вызов! Но знайте же, что, когда вы расстреливали невинных, я была среди них».

Увы! Лишь в моем воображении Анна произносила эту пылкую речь. По ходу действия она должна была молча лежать на холме, в то время как ведущий объяснял зрителям, о чем она думает, умирая.

В общем это был интересный опыт, который, безусловно,

удался, поскольку в публике он имел шумный успех. Правда, это был несколько другой успех, чем мы ожидали, потому что спектакль был задуман как трагический, а зрители почти все время смеялись. Но их нельзя за это винить, потому что автор сознательно пошел на искажение жизненной правды. Например, ведущий не должен был говорить: «Появляется верхом на лошади молодая женщина, черты лица которой нам знакомы», в то время как молодая женщина (это была я) появлялась пешком. Понятно, что публика начинала кричать: «Где лошадь?» и т. д. Потом Гурий упрекал ребят в бедности воображения. Но, по-моему, он был не прав. Мы живем не во времена Шекспира, и слова ведущего должны были хотя бы до некоторой степени совпадать с тем, что происходило на сцене.

Еще хуже вышло с занавесом. У нас не было занавеса, и Гурий утверждал, что это очень хорошо, потому что занавес давно устарел и на сцене его должна заменить абсолютная темнота. Но абсолютной темноты не получилось, и всякий раз, когда гасили свет, становились видны ребята из младших классов, сидевшие между кулисами на полу и кричавшие то громко, то тихо, чтобы получилось впечатление, что они то наступают, то отступают.

Но все это были мелочи, а главное – то, что мы играли, впервые в жизни играли на сцене!

Я выходила, и таинственный, темный зал начинал следить за каждым моим движением. Я была уже не я в этом новом,

страшном мире освещенной сцены. Все дрожало во мне, и ни до чего нельзя было дотронуться, потому что все вокруг было такое же горячее и дрожащее, как я.

Наконец кончилось это счастье, это мученье! В зале захлопали, взволнованный, потный Гурий нашел меня за матами и вытащил на сцену. Я поклонилась. Нинка говорила, что кланяться нужно, не выходя из роли; я вспомнила об этом и поклонилась снова, но уже в духе моей героини. В зале засмеялись, и, когда я вышла второй раз, это был уже наш привычный школьный зал, в котором я стала даже различать отдельные лица.

Ночь на пустыньке

Как всегда после волнения, у меня немного болела голова и хотелось, чтобы вокруг было тихо. Что-то осталось в душе после нашего спектакля, и я чувствовала, что разговариваю и смеюсь, а сама невольно берегу это чудесное «что-то». Коротче говоря, когда Гурий предложил вместо танцев отправиться на Пустыньку – так назывался заброшенный монастырь на берегу Тесьмы, – я охотно согласилась и уговорила Нину. Одна девочка, жившая рядом со мной, обещала зайти к маме и сказать, что я вернусь очень поздно.

Почему с такой силой запомнилась мне эта ночь, о которой я даже не знаю, что и как рассказать? Так хороши, как никогда еще, были Овражки с первой сквозящей зеленью вя-

зов, с лежащими на земле тенями маленьких листиков и тоненьких веток, с этими неясными купами на берегу Тесьмы, в которых трудно было узнать старые ивы, слившиеся со своими тенями!

Мальчики спорили о спектакле, причем Гурий все время говорил «теамастерство» или «теастихия» и защищал «новые формы, властно зовущие театр из душных коробочек на вольные просторы площадей». Потом перешли на статью Луначарского, который писал, что в консерваторию нужно принимать не по социальному признаку, а по таланту. Андрей вдруг сказал:

– А вы знаете, что Ленин был в Лопухине?

Все закричали: «Как был, когда?» – и Андрей рассказал, что Ленин на лето приезжал из Симбирска, еще когда был гимназистом.

– Но возможно, что Митя напутал... Мне Митя сказал, а в биографии – я нарочно еще раз прочел – об этом ни слова.

Но я все-таки решила, что был, и мигом вообразила Ленина-гимназиста в мундире с блестящими пуговицами, в открытом крахмальном воротничке, с выпуклым лбом и зачесанными назад светлыми волосами. Вот в садике перед гимназией он узнает о казни старшего брата. «Мы пойдем не этим путем». Вот он выходит на Овражки задумчивый, стараясь не наступать на тоненькие тени веток...

– Чьи это слова? – спросил Володя.

Служенье муз не терпит суеты,
Прекрасное должно быть величаво!

– Вот загадка! Пушкина, – ответил Андрей.

И мальчики заспорили о том, что такое «прекрасное» и знает ли гений о том, что он совершает прекрасное, или не знает. Гурий утверждал, что не знает и что, по мнению Пушкина, прекрасное, то есть великое, может совершить лишь тот, кто «психологически одинок», то есть свободен от чувств – все равно, плохих или хороших.

Он прочел:

Ты сам свой высший суд,
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?

– Между тем человек никогда не бывает психологически одинок, – сказал он. – В самом деле, только что родился, как у него появляется мать.

– Ты хочешь сказать: он появляется у матери...

– Не вижу разницы. Он подрастает, поступает или не поступает в школу, кончает или не кончает вуз и совершает тому подобные поступки, свойственные человеческому индивиду. Так?

– Допустим.

– С первой минуты жизни он находится в условиях, исключающих одиночество. И эти условия отнюдь не мешают

ему участвовать в создании величайших творений. Ты согласен со мной?

– Согласен.

– Ага! – с торжеством закричал Гурий. – Следовательно, ты считаешь, что Пушкин не прав?

Мы расхохотались, и Ниночка объявила, что в такую ночь грешно заниматься философией. Но Андрей даже не улыбнулся, и я почувствовала, что этот спор глубоко волнует его.

– Что значит «великое»? – возразил он. – Египетским фараонам казалось, что они совершают великое, воздвигая пирамиды. Мы убеждены, что великое – это то, что совершается для счастья человечества. Чтобы совершить великое, надо любить.

Он сказал это, когда мы стояли на старом плавучем мосту и смотрели, как одна баржа стала отходить, чтобы пропустить расшиву – так у нас на Тесьме назывались парусные грузовые суда. Расшива была видна издалека, еще когда мы шли по Овражкам, а теперь приблизилась, и можно было различить, как под большим надувшимся парусом двигаются и что-то делают люди.

Мне почудилось, что руки Андрея, лежавшие на перилах рядом с моими, немного дрожат. Я взглянула на него – и поразилась. У него были полузакрыты глаза, и лицо с крепко сжатыми губами было торжественным и сумрачно-важным. Трудно поверить, но я поняла в этот миг, что в его душе еще звучат слова: «Чтобы совершить великое, надо любить» – и

что они сливаются с этой картиной ночной реки, расшивы, которая под белым трепещущим парусом гордо прошла, точно разрезала мост пополам. Лоцман стоял на корме в полушубке и закуривал – выбивал искры из кремня, – и искры гасли и гасли...

Вот и Пустынька! Она была незнакомая ночью, ручьи шумели на дне оврага, лунный свет был не такой, как в городе, – таинственнее, мягче. Пустынька стояла на четырех оврагах, и прежде через них вели мосты. Но мосты давно прогнили, сломались, и теперь нужно было знать тропинку, чтобы подойти к монастырскому зданию.

Мы спустились этой тропинкой в овраг, и стало так темно и так шумно, что мальчики, которые спорили теперь о том, что такое любовь, должны были почти кричать, чтобы услышать друг друга. Володя подхватил меня и перенес через ручей так бережно, как будто я была стеклянная и, если бы он уронил меня, разлетелась бы на кусочки. Он был очень милый, я чувствовала, что он волновался, и в этот вечер мне было все равно, что он немного туповат и однажды признался мне, что никак не может одолеть «Мертвые души».

На дне оврага был свой, шумный, пахнувший сыростью мир, и когда из этого мира мы поднялись наверх, я даже ахнула – таким необычайным показалось мне здание старого монастыря с его чистыми строгими стенами, глухими окнами и высокой башенкой, в которой виднелись колокола.

Мы зашли во двор – как все пустынно, печально! Камен-

ная панель вела к разрушенному зданию ризницы. Толстая железная дуга была подвешена на цепи посреди двора. Гурый постучал по дуге палкой, и сдержанный суровый звон отозвался и замер.

До утра мы бродили по Пустыньке, ломали черемуху, пели.

Потом Андрей куда-то пропал; я нашла его на развалинах монастырской стены, над обрывом, с которого далеко виднелась Тесьма, и мы долго сидели и молчали...

– Да, совершить великое, но не вообще, а конкретно, – наконец сказал он. – Например, открыть тайну белка. Ведь это было бы подвигом в науке?

– О да!

Я чуть не спросила его, можно ли совершить подвиг, посвятив свою будущность театру, но такой вопрос показался мне легкомысленным в сравнении с тайной белка.

– Как ты думаешь, чтобы решить такую задачу, нужно быть гениальным?

– Я думаю, да.

Андрей замолчал. Потом переспросил упавшим голосом:

– Да?

Очевидно, он не считал себя гениальным.

– Да, но мы можем стремиться к великому, – вдруг живо сказал он. – Представь себе, насколько все становится яснее, когда в жизни появляется главная цель. К ней можно прислушиваться и проверять себя. Ее можно хранить в тайне

или доверить только близким друзьям. Ты знаешь, я убежден, что очень скоро в нашей стране великое будет совершаться почти ежедневно.

Я спросила:

– А несчастья?

Он не понял, и я объяснила, что борьба с эгоизмом – внутренняя, а есть еще внешняя – против несчастий и огорчений, которые тоже очень часто встречаются в жизни. Андрей подумал и ответил, что в подобных случаях должна помочь воля, а воля и стремление к цели – это две стороны одного и того же явления.

Звезды стали бледнеть, первые лучи солнца скользнули по башенке, по куполам, потом спустились прямо на нас. Большой красный шар стал подниматься на той стороне Тесьмы, над полями. Похожая на флаг сосна стояла на обрыве шагах в двадцати от нас. До сих пор она была незаметная, ночная, а теперь под утренним солнцем стала красная, стройная, точно ее преобразило какое-то чудо.

Стрижи взвились с колокольни прямо к солнцу, крылышки блеснули, как будто кто-то рассыпал в воздухе осколки стекла. Все вокруг – на небе и на земле – было теперь красным и золотым от солнца, и уже не прежние угрюмые купы стояли на берегу, а серебристые ивы с молодыми листьями, поворачивающимися под утренним ветром своей нежной, беленькой стороной. Как все было прекрасно! Как великолепно было, что наступило утро, и что я вижу солнце и

небо, и что никто не знает, как я счастлива, и только я знаю, что буду еще счастливее – счастливее всех людей на земле!

* * *

Почему-то много народу было у нас в передней, – так рано? – когда я вернулась домой. Какие-то женщины громко говорили, ахали и вдруг замолчали, расступились, увидев меня. Мария Петровна в пальто, в туфлях на босу ногу, непричесанная вышла из нашей комнаты и, поджав губы, уставилась на меня.

– Что случилось?

– Ничего, ничего!

Кто-то белый был в нашей комнате; я вошла и увидела Митю в халате. Разобранный шприц лежал перед ним на столе, он укладывал его в коробочку и, когда я вошла, зачем-то рассматривал одну иголку перед лампой. У него было усталое, напряженное лицо, энергично-хмурое, со сдвинутыми бровями.

– Что случилось?

Он поспешно бросил иголку, подошел ко мне и взял мои руки в свои. Я бросилась к маме. Она лежала ровно, неподвижно, с неподвижным лицом. Она была такая же, как всегда, только глаза закрыты и руки крест-накрест сложены на груди...

Несколько дней

Митя ушел, еще раз крепко пожав мне руки, какие-то женщины заглядывали в нашу комнату и долго разговаривали в передней, я слушала и не слышала их и, помнится, удивилась, когда Мария Петровна рассказала, что мама очень ждала меня и, когда ей становилось полегче, все говорила: «У Тани будет успех, оттого что она по натуре артистка».

С маминой службы прислали фельдшера, он поставил ей банки, но маме не стало легче, и она попросила Марию Петровну сходить за Митей. Митя пришел и остался у нас на всю ночь. Бледный, нахмуренный, он сидел на постели и каждый час впрыскивал камфору. Под утро он послал Марию Петровну в аптеку за каким-то редким лекарством и, когда лекарства не оказалось, так набросился на нее, что мама даже стала смеяться. Она не знала, что умирает. А Митя уже снова колот ее и делал еще что-то. Потом закричал: «Чашку!» – и вскрыл маме вену, но кровь не пошла.

Вдруг он наклонился над мамой и громко назвал ее по имени: «Наталья Тихоновна!» И Мария Петровна ясно видела, как у нее в последний раз вздрогнули и закатились глаза...

Меня увели из нашей комнаты, потому что маму нужно было «готовить», и я долго сидела у Марии Петровны.

Андрей приходил несколько раз, но как-то незаметно, так,

что я даже забывала о нем. Потом я вернулась к маме; она лежала причесанная, чистая, и рукава белого платья были наспех крупными стежками приметаны друг к другу, так что нитки порвались бы, если бы мама подняла руки. На глазах у нее лежали медяки. Эти медяки и сшитые рукава – это было то, что никогда не делают с живыми. Она умерла, ее нет, ветки цветущей черемухи лежат у нее в ногах, потому что она умерла!

В Лопяхине кладбище расположено на Павской горе, поросшей сосновым лесом, и мальчики с Ниной без меня выбрали высокое, чистое место. Не знаю, откуда они взяли цветы – садоводство было только в Петрове, но, когда мы уходили, между цветами был едва виден некрасивый песчаный холмик, под которым лежала мама.

Какой холодной, слишком просторной показалась мне наша комната, едва я переступила порог! Во всем, что я видела вокруг, была мамина жизнь, ее заботы, ее прошлое, ее увлечения, а моя в этой комнате была только полочка с книгами, да и эти книги мама прочитала прежде меня.

Без мысли, без чувства стояла я у окна, глядя на улицу и слушая, как за стеной у Марии Петровны маятник ходит туда и назад, равнодушно отбивая секунды. Еще одной больше, с тех пор как она умерла!

Еще одной!

Мы почти не расставались – как же вышло, что она даже

не простилаась со мной? Часы захрипели, собрались бить, но раздумали, и маятник – тик-так – снова стал отбивать секунды. Почти не расставались, вот в чем дело! Все было обыкновенным, незаметным, привычным, – вот почему я не замечала, не ценила, как нежно мама любила меня...

Андрей пришел, когда я колола дрова под лестницей (нужно было затопить буржуйку, вымыть пол, постирать – прежде все это делала мама), и, не сказав ни слова, отнял у меня топор. Он наколол и натаскал так много маленьких аккуратных поленьев, что их некуда было девать и пришлось сложить под кроватью. Каждый раз, когда он приносил вязанку, мы недолго разговаривали – и он опять уходил. В первый раз он сказал:

– Неприятный шум из-за этой женитьбы. Ты знаешь, о ком я говорю?

– О Глафире Сергеевне и Мите.

– Да. Причем я совершенно согласен с тобой. Она только кажется сложной.

Он подумал и сказал, что был бы очень рад, если бы они уехали поскорее.

– В конце концов доказано, что любовь – это состояние, зависящее от прилива крови к продолговатому мозгу, – серьезно объяснил он. – И мне, например, не ясно, почему из-за этого факта, имеющего место в организме моего старшего брата, весь дом должен переворачиваться вверх ногами.

«Вверх ногами», по его мнению, перевернулась Агния

Петровна, которая плачет и жалуется, что еще не слышала от Глашеньки ни одного умного слова. Тем не менее она продала серьги, чтобы купить молодым шесть простынь из ярославского полотна и кружевную накидку. Но Глашенька только сделала вид, что она довольна, а Митя откровенно сказал, что «это мещанство».

Андрей нарочно рассказывал о «молодых» – наверно, хотел, чтобы я хоть ненадолго забыла о маме.

– Между прочим, это ерунда, что Глашенька не знала о заседании педсовета, на котором ее провалили, – продолжал он. – Прекрасно знала. Сама говорила Митьке, я слышал...

Он искоса посмотрел на меня – должно быть, думал, что я буду поражена. А мне стало горько и смешно, что еще так недавно эта глупая история волновала меня. «Да, она сложная и страшная, – подумалось мне о Глашеньке. – И я была жалкой девчонкой, когда, дрожа, разговаривала с нею в передней. Какое счастье, что они уезжают и я навеки забуду о них».

Второй раз он спросил, думала ли я о нашем последнем разговоре.

– Я хочу сказать, – он немного покраснел, – что тебе стало бы легче, если бы ты иногда вспоминала, что согласилась со мной. Помнишь, я говорил о стремлении к великому, и ты спросила: «А несчастья?» Ведь ты согласилась, что воля и стремление к цели очень тесно связаны между собой?

В другой раз он вернулся с каким-то тощим гражданином

в измятом пальто и полотняной шляпе. Я сразу узнала его: это был звездочет из посада. Без чалмы у него был довольно жалкий вид, в особенности когда он снял шляпу и оказалось, что у него большая плешь, которая смешно сморщивалась, когда он говорил.

– Имею честь видеть перед собой дочь покойной Натальи Тихоновны?

Впервые маму назвали покойной. Я ответила:

– Да.

– Очень приятно. Ваша мамаша была выдающаяся женщина, и я, могу сказать, всегда был счастлив, что состоял, если можно так выразиться, ее коллегой.

Он высоко поднял брови, и плешь сморщилась. Он был вежливый, но неприятный.

– Теперь, так-с... Мне известно, что от вашей мамашки остались книги, как то: «Гадание девицы Ленорман», «Магический круг царя Соломона», «Оракулы» и другие, которые она брала у меня. Теперь я прошу вас вернуть, поскольку вам, осмелюсь полагать, не особенно нужны эти книги.

С тех пор как мама стала работать в швейной мастерской, она не прикасалась к картам. У звездочета она никогда не брала книг, так что он мог бы не приходить за ними на другой день после ее похорон.

Должно быть, я побледнела, потому что Андрей подвинул стул и сказал мне повелительно:

– Сядь.

– Значит, как-с? – спросил звездочет. – Вернете добровольно или прикажете через суд?

Андрей осторожно обошел меня и, странно улыбаясь, взял звездочета за шиворот. Никогда прежде я не видела, чтобы Андрей так улыбался. Звездочет крикнул: «Ай!» Пальто стало сниматься с него, и Андрею пришлось остановиться, чтобы свободной рукой всунуть звездочета в пальто. Они исчезли в передней, но через открытую дверь я видела, как Андрей, приладившись, поставил звездочета на верхнюю ступеньку лестницы и толкнул ногой в поясницу. Звездочет все повторял жалобно: «Ай, ай!» Потом наступило молчание, и его голос донесся уже снизу:

– Ай! Шляпу!

Андрей вернулся и бросил в пролет лестницы шляпу.

Несколько раз мне казалось той ночью, что я засыпаю, но как будто кто-то толкал меня: «Умерла!», и, вздрогнув, я открывала глаза. То чудилось мне, что мама бродит по темному, незнакомому дому и входит в комнату, где я одна сижу за столом. И с отчаянием, с ужасом я догадываюсь, что она не видит меня. То мне слышался ласковый голос: «Доченька, спишь?» Так она по утрам окликала меня. То мы мчались куда-то в пролетке – она молодая, как я, с золотыми кольцами-серьгами в ушах, в развевающейся шали, а у театра уже стоял актер Максимов, в которого она была влюблена, и, сияя, старомодно кланяясь, она представляла меня: «По-

друга». То, сверкая черными глазами, мама страстно защищала кого-то... То стояла у окна, а на Михайловской происходило что-то из древней истории: всадники – половцы или скифы, – громко разговаривая, слезали с коней...

Я очнулась. Я спала с открытыми глазами, а этот шум, смятение, разговоры всё продолжались, как будто всадники, приснившиеся мне, ожили, раскинув лагерь подле нашего дома. Я встала и не поверила глазам: в слабом предутреннем свете я увидела множество коней и телег, перепутавшихся и тесно надвинувшихся друг на друга. Какие-то тонкие, желтые люди в армяках, в полушубках сидели и лежали среди этой тесноты на мостовой, на телегах. Среди них ходили, распоряжаясь, наши лопахинские – старший Рубин и другие. Митя в шинели и шлеме вышел из-за угла и громко сказал председателю горсовета:

– Прежде всего нужно мобилизовать людей на прожаривание тряпья – и в баню.

Мария Петровна зашла ко мне испуганная, в одной рубашке, и я впервые заметила, какие у нее острые, худенькие плечи.

– Таня, ты не спишь? – сказала она. – Привезли голодающих с Поволжья...

Каждый день я читала в «Красном набате» о голодающих Поволжья. У бывшей аптеки Принца висел плакат: растрепанная седая женщина с обезумевшими глазами держала на руках мертвого ребенка – и внизу было написано: «Помни

о голодающих». «Юный пролетарий» обратился с воззванием к молодежи. В «Синем журнале» я читала о том, что известный путешественник Нансен «опровергает клевету буржуазных газет о том, что его снимки поддельные». Он сделал несколько тысяч снимков, и один из них был напечатан в «Синем журнале» – бесконечная белая равнина, по которой, держась друг за друга, шатаясь, бредут люди, а в стороне лежат две мертвые женщины, полузанесенные снегом... В Лопухине открылся магазин Помгола. Весь сбор с нашего спектакля пошел в Помгол, и, помнится, мы выручили около ста миллионов – по тому времени это была довольно крупная сумма. Но все это – спектакль, магазин, плакат – было так бесконечно далеко от скрипа телег, ржания коней, тесноты, смятенья – всего, что вдруг появилось на Малой Михайловской под окнами нашего дома.

Я оделась и обошла весь город. Окрестные крестьяне привезли голодающих на телегах, и на всех улицах – на Овражках, вдоль набережной до самой Пустыньки, вокруг маленьких костров, над которыми висели закопченные чайники, – сидели тонкие, желтые, исхудалые люди. Многие были в высоких войлочных шляпах, в онучах и лаптях. Некоторые неподвижно сидели на мостовой, другие ходили, шатаясь, в распахнутых полушубках, и было очень много детей, разговаривающих между собой серьезно и тихо. У бани висело объявление: «Требуются рабочие за повышенную плату» – и Гурий сидел за столом и скучал: записывалось мало – боя-

лись сыпного тифа. Он сказал мне, что комсомольцы мобилизованы, и я тоже хотела бежать в райком, но в эту минуту Гурий вскочил и закричал:

– Вот он!

Я обернулась: Митина кавалерийская шинель мелькнула и скрылась в переулке.

– Какой организатор, а?

– Кто?

– Доктор Львов, – сказал Гурий с восторгом, и я не сразу поняла, что он говорит о Мите.

Это были дни, запомнившиеся мне на всю жизнь, и не только потому, что я впервые встретила с настоящим бедствием, поразившим меня до глубины души, но и потому, что я впервые почувствовала себя участницей борьбы с несчастьем многих.

...Можно было подумать, что Митя приказал всем лопатинцам от мала до велика стать добрыми и храбрыми, а кто не захотел подчиниться приказу, на тех он кричал, топал ногами, и они волей-неволей поступали так же, как другие, на которых не приходилось кричать. Я сама видела, как он выбежал из кино «Модерн», где разворачивался госпиталь, и схватил за шиворот сторожа с мельницы бывшей Лассен, который отказывался куда-то идти и делать то, что приказывал Митя. Сторож вывернулся, и Митя в бешенстве схватился за кобуру, которая, к счастью, оказалась пустой.

Он распределил детей по квартирам, и мы с Марией Пет-

ровной тоже взяли ребеночка, еще совсем маленького и такого худенького, что невозможно было без подступающих слез смотреть на его тонкие темные ножки.

На заседании горсовета Митя предложил открыть сорок банных пунктов – у него был широкий размах. Рабочие кожзавода взялись доставить на эти пункты дрова, и это дело – сложное, потому что в Лопахине не было транспорта, – организовал тот же Митя. Он был везде – казалось, что за каждым углом мелькают его длинная шинель и шлем с развевающимися ушами. Он привел из соседнего городка военную часть, красноармейцы раскинули лагерь, и голодающие поселились в палатках. Забежав на минуту домой, он накричал на Андрея за то, что до сих пор мы, учащиеся, активно не включились в работу, и уже через час Андрей докладывал в райкоме план помощи голодающим. Мы организовали горячее питание из походных кухонь, разливали суп, раздавали хлеб. Сбор вещей мы провели не только в городе, но и в районе. Мы устраивали по частным домам детей, нуждавшихся в особом уходе. Митя назначил Гурия «главным дезинсектором», и мы с Ниной круглые сутки «жарили» в бане над плитой армяки и рубашки.

Это была неприятная работа главным образом потому, что я боялась вшей, именно вшей, а не сыпного тифа. Гурий говорил, что это «идиосинкразия» и что то же самое было у Петра Великого, который боялся черных тараканов. Но даже это лестное сравнение не помогло мне избавиться от страха.

Острое положение, когда был мобилизован весь город, продолжалось только несколько дней.

Со странным чувством вернулась я в свою опустевшую комнату – вошла и с удивлением остановилась на пороге, точно попала в незнакомый дом. Знакомые вещи стояли на своих привычных местах. Но в другом свете я увидела эту комнату и себя, стоящую на пороге и внимательно всматривающуюся во что-то новое – я сама еще не знала, во что. Как будто не в комнате, а в душе я ничего не нашла на старом месте. И горе, которое было прежде болезненно-резким и настолько «моим», что я невольно отстранялась, когда в это «мое» заглядывали даже близкие люди, немного отошло, отодвинулось – так, что теперь я могла смотреть на него издалека.

«Синема – чудо XX века»

Когда я вошла, Павел Петрович спал в кресле так тихо, что казалось, его большая, склонившаяся на грудь голова больше никогда не поднимется и старые глаза с ободком вокруг цветного колечка никогда не взглянут на меня с добродушно-грустным выражением. Я сидела подле него, думала, прислушивалась, и, как в детстве, когда я лежала у Львовых, звуки дома – из кухни, из столовой, из комнаты Агнии Петровны – стали собираться ко мне. Вот Агаша выбросила из кухни кота и с шумом захлопнула двери. Вот легкие шаги

послышались в коридоре, Митя засмеялся, и мне представилось, что Глашенька, крадучись, подходит, чтобы сзади закрыть его глаза руками, но он обернулся, она легко вскрикнула и убежала. Вот Митя с грохотом помчался за ней и в передней наткнулся на Рубина, которого я тоже узнала по голосу и который иронически сказал, раздеваясь:

– Импульсивная энергия молодых собак.

И, разговаривая и смеясь, они прошли в столовую.

Я сидела, слушала и нисколько не раскаивалась, что пришла. Сейчас доктор проснется и придет Агния Петровна, которая была на маминых похоронах и вообще очень сердечно относилась ко мне.

– Ну, Таня?

Доктор уже не спал.

– Дай твою руку.

Он взял меня за руку.

– Митя сказал, что ничего нельзя было сделать.

– Я знаю, Павел Петрович. Он и так сделал все, что мог.

Мы помолчали.

– Я в этих случаях ставил горчичник на сердце. Не знаю, теперь лечат иначе.

Он погладил меня и задумался.

– Вот что, Таня. У меня есть вещи, лично мои. Золотой портсигар с монограммами и другие. Ты возьми и продай.

– Спасибо, Павел Петрович. Мне ничего не нужно.

Я уселась подле него на скамеечке, как бывало, и немно-

го поплакала. Он не утешал, только крепко обнял меня за плечи.

До позднего вечера я просидела у Львовых. Митя уезжал – весь дом был полон его делами. Портной принес ему штатский костюм; Митя кричал, что в новых брюках у него ноги кривые, и я, между прочим, вспомнила, как Андрей однажды сказал мне: «Для Мити внешняя сторона играет огромную роль». Слесарь явился с «микротомом» – так называется прибор для гистологических срезов. Микротом тоже не вышел – срез, по мнению Мити, получался недостаточно тонким. Агния Петровна пришла из Дома культуры какая-то растерянная – несмотря на свой гордый вид, – долго рассказывала мне, как после смерти мужа осталась одна с маленькими детьми, но не потеряла присутствия духа, и какой-то настройщик с абсолютным слухом устроил ее к Юлию Генриху Циммерману. Вдруг она забыла обо мне и стала жаловаться, что еще не слышала от Глашеньки ни одного умного слова.

– То сидит как дикарка! А то «мамочка, мамочка!». Что я для нее за «мамочка»?

Уже двигали стулья в столовой, готовились к ужину. Ни с кем не прощаясь, я тихонько убежала домой.

Когда мама умерла, я поступила на службу библиотекарем-хранителем книжного склада Уполитпросвета. Это была легкая служба: на моей обязанности было снабжать город-

ские библиотеки литературой. Но, во-первых, в городе была только одна библиотека, во-вторых, хотя склад был завален книгами, привезенными из помещичьих усадеб, на эти книги, в огромном большинстве иностранные, в лопахинской библиотеке почти не было спроса.

Я бы не стала рассказывать об этом «полусне-полуслужбе», как называл мое сидение на складе Андрей, если бы среди множества книг, сваленных в беспорядке на пол, мне не попала серия «Синема – чудо XX века». Это были биографии знаменитых киноактрис, о которых, между прочим, в афишах всегда писали «красавица»: например, «с участием красавицы Франчески Бертини».

Одна биография показалась мне особенно интересной: оказывается, киноактриса Жанна Николь в детстве была так неуклюжа, что учитель танцев не в силах был разучить с нею самое незамысловатое па. Но она дала себе слово, что придет время и она станет «великой». И вот она начала работать над своим голосом, движениями, выражением лица. Если ей было грустно, она старалась принять беззаботный и даже радостный вид. Она нарочно причиняла себе боль и одновременно заставляла свое лицо изображать безмятежность. Она научилась управлять своим взглядом. Так она приобрела полную власть над собой. Дальше было неинтересно, потому что все биографии великих киноактрис в общем были похожи.

Итак, она чувствовала одно, а заставляла себя изобра-

жать совершенно другое! Значит, актеру совсем не нужно «перевоплощаться», как утверждал, например, Гурий, когда мы репетировали его пьесу-сценарий. Наоборот! Чем глубже спрятаны личные чувства, тем с большей свободой актер может изобразить другого, абсолютно непохожего на него человека. Эта мысль поразила меня.

Закутавшись в мамину шаль – склад помещался в подвале, и даже летом в нем было прохладно, – я читала, читала. Я сидела на книгах, и везде, надо мной и вокруг меня, были книги; чтобы прочесть их, наверное, не хватило бы человеческой жизни. Читая, я время от времени поглядывала на светлый квадрат солнца, падавший на лестницу и казавшийся мне ослепительным из глубины темноватого склада, и у меня было странное чувство, что все в мире остановилось и ждет, пока я переверну страницу. Я переворачивала ее, и что-то переставлялось в мире, как, постепенно уходя, менял свое место в течение дня солнечный квадрат у входа.

Теперь, через много лет, мне кажется странным, что эта дешевая серия «Синема – чудо XX века» так увлекла меня, что я сперва незаметно, а потом все более сознательно начала думать о театре. Но может быть, эта мысль забрела в мою голову значительно раньше – в тот день, когда, играя героиню Анну, я выходила на сцену и таинственный, темный зал начинал следить за каждым моим движением? Так или иначе, но она явилась, эта чудесная мысль, и что ни день, то все с большей уверенностью принялась распоряжаться моею

душой. Сперва она как будто не коснулась моего давнишнего решения пойти на медицинский факультет, – решения, о котором мы часто говорили с Павлом Петровичем и которое давным-давно стало для меня таким же привычным, как сам Павел Петрович. Потом я подумала, что можно учиться одновременно в двух вузах – в медицинском и в театральном, – это был выход! Правда, подозрительный по своей легкости, но все-таки выход!

...Кино «Модерн» представлялось мне: очень холодно, девушки снимают туфли и сидят то на правой, то на левой ноге, лектор в валенках появляется перед экраном. «В главной роли, – говорит он, – выступает молодая артистка, пожелавшая остаться неизвестной».

И вот гаснет свет, аппарат начинает трещать за спиной, пар от дыхания становится виден в расширяющейся полосе света, падающего из окошечка будки... Она!

А молодая артистка, одетая очень скромно, сидит в последней ряду и плачет и смеется от счастья...

В конце июня, получив выпускные свидетельства, Нина и мальчишки пришли «снимать меня с работы», как сказал Андрей. Не знаю, что переменялось в них, но между нами уже как будто легла та новая, студенческая жизнь, о которой они так весело говорили, в то время как я с грустью думала, что пройдет еще месяц и я останусь одна.

Нина собиралась в консерваторию. Вопрос о мировоззрении теперь меньше беспокоил ее, поскольку из статьи Лу-

начарского она сделала неожиданный вывод, что для таланта не только социальный признак, но и мировоззрение не играет существенной роли. В феврале был объявлен добровольный набор двух тысяч комсомольцев в школы учебных отрядов флота. Володя Лукашевич послал бумаги и вскоре должен был ехать в Кронштадт. Гурий решил поступить на петроградские курсы техники речи. По его словам, это были единственные в мире курсы, на которых существовало специальное ораторское отделение. Люди, не умеющие связать двух слов, поступали на это отделение и через каких-нибудь два-три года превращались в первоклассных ораторов.

Андрей собирался в Москву, на медицинский факультет университета. Я спросила: «К Мите?» – но он ответил, что у Мити и без него довольно хлопот. Это было сказано как-то неопределенно, небрежно, хотя я прекрасно знала – от Андрея же, – что именно Митя горячо убеждал его подать на медицинский. Но для Андрея было почему-то важно, чтобы никто не сомневался в его полной самостоятельности в этом вопросе.

– Кстати, ты знаешь мою идею? – сказал он. – Я уговорил дядю прочесть нам курс.

Слушаю курс

На дворе у Львовых уже не стояли ящики от роялей и пианино: ящики сожгли во время Гражданской войны. Двор за-

рос и стал похож на сад. В Лопяхине каштаны – редкость, а тут откуда-то взялся и вырос большой каштан. Накинув на плечи старую шаль, Павел Петрович сидел под каштаном в своем кресле; вот почему, когда я впоследствии вспоминала лекции старого доктора, в моем воображении прежде всего появлялся каштан в полном цвету, с прямыми, нарядными свечками, розовыми от заходящего солнца.

Очевидно, слова «прочсть курс» произвели на меня глубокое впечатление, иначе, собираясь на первую лекцию, я не надела бы свое единственное нарядное платье – маркизетовое с воланами. Кажется, это было ошибкой. Маркизетовое платье я всегда надевала на танцы, и теперь у меня тоже сразу стало скорее танцевальное, чем научное настроение. Должно быть, поэтому я больше смотрела на мальчиков, чем слушала Павла Петровича. Потом я стала смотреть на них «психологически» – иногда это получалось забавно. «Вот Гурий, – думалось мне, – какой он? Почему все девочки влюбились в него, и даже мне – хотя я не влюбилась – хочется, чтобы он ухаживал за мной, а, например, не за Ниной?»

Неизвестно, что это значит, но вот Володя Лукашевич с его добрым румяным лицом – неинтересный, и мне все равно, что он краснеет и старается не смотреть на меня, а Гурий с его толстыми, как у негра, губами – интересный, и девочки от него без ума.

Но я все-таки подумала: «Нет», как будто Гурий объяснился мне в любви и с волнением ждал ответа. Мне не нрави-

лось, что он с равной легкостью рассуждал обо всем и слишком любил выступать – он чувствовал себя хорошо, только находясь в центре внимания. Вот и сейчас, сидя на траве, как турок, он быстро записал что-то в тетрадку и с недоумением пожал плечами, как будто был не согласен с Павлом Петровичем. «Нет, нет», – снова подумалось мне. И я стала «психологически» смотреть на Андрея.

У него был рассеянный взгляд, но в глубине скрывалась какая-то неподвижность, и по этой неподвижности было видно, что он слушает с напряженным вниманием. Он слушал и думал – хотелось бы мне догадаться о чем?

Да, он был совсем не похож ни на Гурия, ни на Володю, и неизвестно, что я ответила бы ему, если он вдруг взял да и объяснился мне в любви. Впрочем, это было невозможно. Он сам однажды сказал, что никогда не влюбится, потому что «любовь – это власть одного человека над другим, причем обычно женщины над мужчиной».

Между тем доктор все читал, и, должно быть, лекция была интересная, потому что я заметила, что Нина загибает пальцы, чтобы потом по счету вспомнить самое главное и дома повторить, – у нее был такой мнемонический способ. Я посмотрела на ее сосредоточенное хорошенькое лицо, подумала, что она правильно делает, что идет в консерваторию, где нужен только талант, вздохнула и стала слушать.

В этот день Павел Петрович рассказывал о вирусах, о невидимых микробах, но начал он с истории ночного сторо-

жа, любившего рассматривать «маленьких животных» через увеличительные стекла. Разумеется, давным-давно я знала, что это вовсе не сказка, что имя ночного сторожа Антоний Левенгук и что он был первым человеком, заглянувшим в мир мельчайших живых существ, мириады которых живут в воде, в воздухе, на земле, под землей, в телах людей, животных, насекомых и птиц. Но все-таки это был видимый мир, и заслуга Антония Левенгука заключалась именно в том, что он его увидел.

– Представьте же себе, – говорил Павел Петрович, – что, кроме этого мира видимых микробов, жизнь которого открывается нам под линзами микроскопа, есть еще и другой, абсолютно невидимый мир. То мир настолько неизмеримо малых микробов, что нет ни малейшей возможности увидеть его даже через самые сильные микроскопы. Как бы вы ни напрягали зрение, сколько бы ни смотрели на два тончайших стеклышка, между которыми заключена частица этого мира, вы не увидите ничего.

И старый доктор объяснил, что этот невидимый мир был открыт еще в 1892 году русским ботаником Ивановским.

Доктор читал нам весь июль, и ребята не пропустили ни одной лекции – даже Нина, которая откровенно признавалась, что, когда Павел Петрович рассказывал о вражде микробов, она с удивительным постоянством вспоминала сказку «Война мышей и лягушек», которую в детстве читал ей отец. А когда Павел Петрович доказывал, что лекарства нуж-

ны лишь для того, чтобы «пробудить природу от сна», ей неизменно представлялась старая дама в пенсне, вроде Агнии Петровны, которая клюет носом на скамейке в саду и которую нужно поскорее разбудить, а то она упадет со скамейки.

В этот день с утра шел дождь, и мы собрались не на дворе, а в комнате старого доктора. Те же старинные фото в перламутровых рамках стояли на фисгармонии; вот дама в длинном платье идет по аллее, подбирая волочащийся шлейф. Вот высокий широкоплечий господин в свободном летнем костюме стоит на мосту, легко опершись на перила, а внизу под мостом незнакомая иностранная река в плавных, как будто шелковых складках волн. Неужели это доктор – с такими ясными, веселыми глазами навывкате, с такой странной, немного раздвоенной верхней губой, которая теперь была не видна под усами? Да, это он в 1871 году. Как давно! И я вспомнила рассказ Андрея о том, что Павел Петрович жил в Париже во время Коммуны.

Он обещал нам рассказать на этот раз о своей работе над зеленой плесенью, в которой находил лечебные свойства, но начал издавека – с вопроса об опыте и наблюдении.

– Увлечшись опытом, – сказал он, – медицина со времен Пастера почти оставила наблюдение, которое некогда лежало в основе науки о природе вообще и о человеке в частности. Именно это обстоятельство повлекло за собой прене-

брежение к защитным силам, которые организм выработал внутри себя в течение тысячелетий.

Это была главная мысль Павла Петровича, и он несколько раз возвращался к ней, как будто боясь, что вот он замолчит – и эта мысль, которая так дорога ему, смешается с другими и станет просто шумом, таким же, как шум дождя за окном.

Согнувшись, положив на колени маленькие, энергично сжатые кулаки, доктор говорил и все всматривался, переводя глаза с одного лица на другое. Мне стало даже немного страшно, когда его умные глаза, смотревшие из глубины темных впадин, остановились на мне. Он как будто ждал чего-то от нас, надеялся, верил. И я стала думать, что теория старого доктора давно превратилась в чувство, вроде чувства безнадежной любви.

Агаша вошла, когда Павел Петрович, вернувшись к зеленой плесени, рассказывал о том, как этот пример заставил его задуматься над процессами, происходящими в организмах микробов. У Агаши был торжественно-загадочный вид. Она постояла на пороге, подумала и впервые в жизни назвала меня на «вы»:

– Танечка, к вам!

Отец

Последнее время я часто думала об отце – между прочим, задолго до маминой смерти. Однажды, тайком от мамы, я на-

писала ему на Камчатку и получила ответ, что такой-то уже не работает в Петропавловске, а переехал на станцию Алексеевск Амурской железной дороги. Это было странно – по карте от Петропавловска до Алексеевска было три тысячи верст. Я подумала – и не стала больше писать. Но когда мама умерла, я снова послала отцу письмо и с тех пор стала думать о нем очень часто. Прежний, давно забытый образ сильного, влиятельного человека, которым за эти годы должен был стать мой отец, вернулся ко мне, хотя теперь, разумеется, я не представляла его в виде Робинзона Крузо, одетого с ног до головы в шкуры из соболей и чернобурых лисиц. Почему-то мне казалось, что я получу от него телеграмму: «Глубоко скорблю выезжаю встречай», – и зимним утром поеду на станцию рано-рано, когда две длинные, поблескивающие, убегающие от саней полосы будут смутно видны в темноте. Вот на пустой, заиндевевшей платформе я стою и волнуюсь – мне страшно, что он не сразу узнает меня. Вот, гремя и выпуская из-под колес облако пара, приближается поезд, и высокий, полный военный в небрежно распахнутой шинели выходит из вагона. У отца свободные, уверенные движения; он говорит, и я слышу сильный, повелительный голос. Остановившись, он обводит глазами платформу и находит меня: «Таня!»

И, плача от радости, я бросаюсь к нему...

Выйдя на кухню, я с недоумением уставилась на маленького гражданина, который сидел у стола, держа на коленях

картуз, а теперь встал и неопределенно улыбнулся, увидев меня.

Я спросила:

– Вы ко мне?

– Да-с.

На нем была русская рубашка, некрасиво торчавшая из-под измятого пиджака. Я ничего не чувствовала, только смотрела на его редкие пушистые волосики, на белокурые седеющие усы, слишком большие для такого маленького лица, и старалась вспомнить: «Где я видела этого человека?»

– Не узнаете?

– Знакомое лицо, – сказала я неуверенно.

Он засмеялся.

– Вот так инцидент, – сказал он добродушно, – родная дочь – и не узнает. Получается драма.

Он сказал «родная дочь», и Агаша, например, поняла это выражение в буквальном смысле, то есть что я родная дочь этого человека. Она стала толкать меня к нему, сердиться. Я отстранила ее. Я не поняла: почему родная дочь? Что это значит: «получается драма»?

В эту минуту маленькое усатое лицо дрогнуло, глаза запрыгали, носик покраснел... Странное чувство, что мы вдруг перестали быть далекими, чужими, передалось от него ко мне, мгновенно смешавшись с разочарованием, жалостью, изумлением. Я спросила дрожащим голосом:

– Отец?

Он всхлипнул и обнял меня...

Помнится, я зачем-то вернулась в комнату старого доктора и сказала Андрею шепотом:

– Вернулся отец.

И Андрей с изумлением посмотрел на меня.

Потом мы пошли домой, и я заметила, что отец очень лихо попрощался с Агашей – закрутил усы и щелкнул каблуками. Он еще не спросил меня о маме... Я ждала с нетерпением – сейчас! Но он все толковал, что купил для меня у китайских купцов бархат на платье, но они обманули его.

– Ведь у нас как, – сказал он с гордостью, – попавши в Петропавловск – продажа, баня, покупка вещей, рубашка шелковая, шаровары плисовые, сапоги лакированные, часы серебряные с двухаршинной цепочкой.

На улице Карла Либкнехта он остановился и стал двумя пальцами похлопывать себя по губам; потом я узнала, что он всегда делал это движение, когда что-нибудь затрудняло или смущало его.

– Значит, теперь такая картина... – сказал он. – Адская вещь, а? Я ведь с женой приехал.

Должно быть, я растерялась, потому что тетрадки, в которых были записаны лекции, вдруг посыпались из моих рук на панель.

Отец бросился подбирать тетрадки.

– Воображение работало, нет ли, черт знает, – сказал он, – но я фактически не в состоянии был без жены обойтись. Во-

обще отчубучил шутку, а? Сам не рад. Гражданский брак – будем так называть.

Я молча повернула назад. Куда я шла – не знаю. Отец постоял немного и пошел за мной. Он бил себя пальцем по губам и все говорил: «Тут всесторонне надо». На Овражках он стал совать мне тетрадки, я взяла и сказала ему:

– Не ходите за мной.

Он остался на набережной, а я спустилась к Тесьме и все шла и думала, пока ноги не подкосились и я не села на зашумевшую гальку у самой воды.

Когда я вернулась домой, отец и его жена обедали. Стол был накрыт, стояли консервы, большими кусками нарезан был хлеб, и отец разливал по стаканам водку.

Интересно, что они встретили меня как ни в чем не бывало: жена отца, худенькая, небольшая, с белыми ресницами и закрученным на затылке маленьким пучком волос, сказала мне: «Милости просим», как будто я была гостья, а она хозяйка.

Отец засуетился, захлопотал, но скоро сел и стал рассказывать об амурских спиртоносах – в стаканах был, оказывается, спирт.

– Золото и спирт, – загадочно сказал он. – Это наши боги.

Он говорил «это».

В общем, у них было хорошее настроение, и они не очень расстраивались, что я сижу за столом и не говорю ни слова.

Мария Петровна заглянула в комнату – должно быть, беспокоилась, что я долго не возвращаюсь домой, и Авдотья Никоновна – так звали мою мачеху – сейчас же пригласила ее к столу. Мария Петровна сперва стеснялась, не пила, я чувствовала, что ей неудобно передо мной, а потом все-таки выпила и развеселилась. Потом пришла торговка, с которой Авдотья Никоновна познакомилась на базаре, и ее тоже пригласили к столу.

С безнадежным чувством прислушивалась я к неумолчной трескотне Авдотьи Никоновны, которая ела, пила, резала хлеб, открывала консервы, мыла посуду – и все это быстро, ловко. С тем же чувством присматривалась к дрожащим рукам отца, когда он подносил стакан к губам и, опрокинув, сейчас же запивал спирт холодной водой. С отвращением следила за торговкой, которая стала приставать к Марии Петровне и вдруг захохотала неестественно тонким голосом, очень странным для такой грузной женщины, с толстыми, как у борца, плечами.

Было уже поздно, гости ушли, а новые хозяева все не ложились. Авдотья Никоновна убрала лишнюю посуду, но два стакана и бутылка остались. Я поняла: на утро. Они были пьяны, но обращались со мной очень любезно. Авдотья Никоновна даже назвала меня сироткой и хотела погладить – я так посмотрела на нее, что она пролепетала что-то и отвернулась. Мне трудно было лечь, но я все-таки легла, закрывшись с головой одеялом. И вдруг я услышала, что они поют.

Облокотясь на стол, пригорюнившись, оба бледные, грустные, но довольные, они сидели друг против друга и пели:

Славное море – священный Байкал,
Славный корабль – омулевая бочка.
Эй, баргузин, пошевеливай вал...

Первые дни я боялась, что Авдотья Никоновна станет все переделывать на свой лад, – у меня заранее кружилась голова от чувства ревности и обиды за маму. Ничуть не бывало! Все осталось на месте. Авдотья Никоновна даже не прибирала в комнате, а только мыла посуду, а все остальное по-прежнему делала я. Она была занята: в первую же неделю после приезда познакомилась со всем Лопахином и теперь постоянно ходила куда-нибудь в гости.

Базар отнимал у нее полдня, и еще полдня – подробнейший рассказ о том, что она видела на базаре.

У отца тоже не было ни одной свободной минуты. Он заявил, что не станет служить, поскольку «настало время – зоря возрождения российского пролетариата мирового труда» и такие люди, как он, «должны на покое подождать назначения». В ожидании назначения отец писал рассказы. Однажды он с самодовольной улыбкой сказал мне, что в литературе он «доброволец-фанатик». Каждый день он писал по пяти рассказов, даже больше; таким образом, за год, что мы прожили вместе, накопилось в общей сложности несколько сотен. Для примера приведу только один – в подлиннике, по-

тому что невозможно передать его своими словами:

«Бабкин эпизод материной матери из крепостного права.

Материна мать осталась вдовой. Ее стали выселять из деревни на край, она с сестрой взяли котомки и отправились к великой княгине. Приходят, дежурный генерал вынимает ассигнацию, кладет на стол, берет их за косы и лбами как щелканет! Вот тебе и у парадного подъезда!»

Другие рассказы были в таком же роде.

Ему очень нравилось, что в моей комнате до сих пор висела афиша «Бедность не порок», и он рассказал мне, что это был его бенефис и что в роли Любима Торцова он имел шумный успех. Цветов было столько, что он стоял по горло в цветах и потом утром продал их одному купцу за двести двадцать четыре рубля пятьдесят копеек. На афише значилось, что П. Н. Власенков исполнял роль слуги, но отец сказал, что это было в другой раз, а на бенефисе он играл Любима Торцова.

Но больше всего он любил рассказывать о спиртоносах. На Амуре были какие-то спиртоносы – русские и китайцы, и отец гордился тем, что те и другие в равной мере доверяли ему, потому что он никогда не выдавал китайцам русских секретов, а русским – китайских. Это были довольно страшные истории: то спиртоносы охотились на «косачей» – так они называли китайцев-золотоискателей. То спиртоносы убивали кладовщиков; причем один неизменно хватал лошадь под уздцы, а другой говорил: «Ну, друг любезный, вы-

ходи. Ты нас обвешивал, обманывал, а теперь рассчитаемся». Другие истории были политические – в них отец всегда играл главную роль. На станции Михайло Чесноков он разоружал жандармов, и сам вахмистр подарил ему свои золотые медали. 15 августа 1918 года он устроил первый субботник Дорпрофсожа. Он обманул японского офицера, сказав ему: «Ваша солдата стреляй, стреляй, а ты пиши, пиши», – и офицер выдал ему пропуск на склад, в котором под мешками с мукой лежали берданки, и отец вывез берданки и передал их партизанам.

Я просыпалась раньше всех и долго смотрела на него: он спал на спине, упершись головой в подушку, точно боялся, что ночью может взлететь. Авдотья Никоновна лежала подле него, но до нее мне было мало дела. Отец! Мне было легче думать о нем, когда он спал, – быть может, потому, что во сне у него печально повисали усы, носик бледнел, и становилось ясно, что он сам не знает, что ему делать со всей чепухой, которой была набита его голова. Отец! Мама всю жизнь не могла примириться с тем, что он бросил ее, а он, вернувшись через восемь лет, не спросил даже, отчего она умерла. Что же делать с этим отцом, у которого даже во сне вдруг становилось жалко-хвастливое выражение лица? Который проснется, выпьет, не умываясь, слабо взмахнет ручкой и начнет рассказывать – о чем? Не все ли равно?

Прощание

Володя Лукашевич перед отъездом зашел ко мне и просидел ровно три часа, так что я стала бояться, что он снова, как в прошлом году, скажет что-нибудь неожиданное и мне снова придется провести довольно сложную разъяснительную работу. В прошлом году он вдруг объяснился мне в любви, и пришлось долго растолковывать ему, что он не только не имеет права говорить подобные вещи, но вообще не имеет понятия, что такое любовь.

Потом уехала Ниночка в консерваторию, нужно было держать испытания. А Гурий и Андрей могли явиться незадолго до начала занятий, потому что для университета и курсов техники речи достаточно было лишь свидетельства об окончании школы. Теперь мы втроем слушали курс – с каждой лекцией он становился все интересней. Потом Гурий, одновременно с курсами техники речи, решил поступить в Стумазит – эта была какая-то «Студия массовых зрелищ и торжеств», в которой должны были учиться около десяти тысяч человек. Он уехал, и мы остались вдвоем. Но лекции продолжались.

Наконец в конце августа уехал Андрей, и все же старый доктор продолжал читать, хотя теперь у него осталась только одна слушательница – я.

Давно была кончена и отправлена Г. статья, в которой Па-

вел Петрович изложил сущность своей теории, но ответа не было, и у старого доктора становилось сумрачное лицо, когда я вспоминала об этом.

Мне запомнился день, когда уезжал Андрей, день, еще совсем летний, хотя в конце августа у нас бывает уже довольно холодно и идут дожди. Накануне мы условились в семь часов утра встретиться на Овражках. Почему именно в семь? Не знаю. Должно быть, потому, что никто не назначал свиданий так рано.

На Тесьме стояли плоты – очень много, так что можно было, не замочив ног, перейти с одного берега на другой. Плотовщики переговаривались, и голоса их были отчетливо слышны, как будто нарочно, чтобы участвовать в этой картине свежего, ясного утра, сложившейся из крупных, ровных бревен, за которыми кое-где поднималось белое облачко пара, из солнечных лучей, проходящих через это облачко и вдруг вспыхивающих разными цветами, из полета чашек над Тесьмой, из чувства бодрости и еще из какого-то деятельно-живого чувства, без которого вся эта жизнь вдруг застыла бы и остановилась, как в заколдованном сне.

Андрей ждал меня. Он был в серой курточке с блестящими пуговицами – бывшей Митиной, в глаженных брюках и туго перетянут ремнем. У него был парадный вид, и я с огорчением подумала, что он уже за тридевять земель от меня, от всего лопахинского... Я не подозревала, что он больше чем когда-либо был полон всем лопахинским в эти минуты.

– Ты сегодня придешь? Дядя будет читать, – сказал он для того, как мне показалось, чтобы сказать что-нибудь.

Я ответила, что непременно приду.

– Ну, как у тебя?

– Точно так же.

– Каждый день?

Это значило, что отец и мачеха пьют каждый день. Я кивнула.

– От этого можно вылечиться, – сказал Андрей, – но они, разумеется, не захотят, потому что им нравится напиваться. Между прочим, это интересный вопрос – роль водки в жизни. Ты не можешь переехать от них?

– Куда?

– К нам. Хотя да! – Он поморщился. – Мама стала какая-то странная последнее время.

После Митиного отъезда Агния Петровна немного помешалась на том, что у нее выходит слишком много продуктов. Прежде мы с Андреем не говорили об этом.

– Ладно, ничего, – сказала я, – последний год. А там...

– В Москву?

– Нет, в Петроград.

– У тебя есть кто-нибудь в Петрограде?

Я сказала «нет», потому что нельзя же было рассчитывать на неведомого Василия Алексеевича, которому мама написала большое письмо и не получила ответа.

Зато в Петрограде находился Институт экранного искус-

ства. Но Андрей еще не знал, что я решила стать киноартисткой.

Он помолчал.

– В декабре я приеду на каникулы, – возразил он серьезно, – и уговорю тебя послать бумаги в Москву. Ты выбираешь Петроград под влиянием литературы. А на деле медицинская жизнь гораздо богаче в Москве.

Мы дошли до пристани и, не сговариваясь, повернули назад. Как обычно в дни сплава, базар с Торговой площади переехал к Тесьме, и на пристани было грязно и шумно.

– Андрей, – начала я с трудом, – мне давно хотелось сказать тебе... Конечно, это покажется тебе неожиданным, хотя на самом деле я решила давно и просто скрывала, потому что боялась, что ребята станут смеяться. И действительно... Возможно, что у меня нет таланта... Я имею в виду театральный талант. Но ты понимаешь...

Андрей слушал спокойно, но, когда я сказала о театральном таланте, у него удивленно дрогнуло лицо. Он расстроился, я заметила это сразу.

– Я знаю, ты будешь упрекать меня за то, что я не боролась с этим увлечением. Но мне было стыдно, потому что я столько лет говорила, что пойду на медицинский, а тут вдруг задумала стать артисткой, да еще артисткой кино.

У Андрея снова дрогнуло лицо – и на этот раз с еще большей тревогой.

– Постой-ка, – медленно сказал он. – Но ведь для этого...

Ну что получилось бы, если бы я вдруг задумал учиться петь – ты знаешь, что у меня за голос! Нина поступает в консерваторию – так ведь нет сомнений в том, что у нее есть дарование. И то неизвестно, артистическое ли это дарование, потому что превосходные певцы иногда совершенно не умеют играть.

– Разумеется! Но ведь если все-таки человек обладает хоть маленьким, хоть самым ничтожным талантом, можно развить его, если упорно работать. Я читала, например, как одна артистка научилась, чувствуя одно, изображать совершенно другое.

Андрей с огорчением пожал плечами.

– Мне кажется, это происходит как-то иначе, – мягко сказал он. – В общем, мне кажется, что ты еще передумаешь, Таня.

Я сказала:

– Может быть.

И подумала: «Ни за что!»

Мы снова дошли до пристани и повернули назад.

– Да, это трудно решить, – продолжал Андрей, несколько не сомневаясь, что мы думаем об одном, то есть о роли склонности в выборе профессии. – Например, Гурий утверждает, что я хочу заниматься медициной потому, что у меня пантеистическое отношение к природе. Это ерунда, поскольку пантеизм – обожествление природы, а я намерен ее изучать.

Мы были теперь на «утюге» – так называлось самое высокое место набережной, здесь Тесьма огибала ее под углом. С «утюга» была видна Пустынька, и я засмотрелась на купол монастырской церкви, то сверкавший, то темневший, когда облака останавливались между ним и солнцем. Непонятно, почему мне вдруг захотелось плакать. Но я подумала, что, напротив, понятно: уезжает мой лучший друг, с которым я всегда советовалась в сомнительных случаях жизни, который любил повторять: «Только простое может бросить свет на сложное», – и был совершенно прав. И вот теперь это «простое», бросавшее свет на все мое «сложное», покидает меня, а сомнений с каждым днем становится все больше и больше...

– Что с тобой? Ты плачешь? – Он осторожно взял мои руки в свои. – Тебе грустно, что я уезжаю?

Я посмотрела на него. Андрей был совсем другой, побледневший, с сияющим взглядом. Он был какой-то летящий, точно ему ничего не стоило подняться в воздух и полететь над Тесьмой.

– Таня... Ты не знаешь...

И он быстро приложил мои руки к щекам. Это было так странно, что на мгновение я перестала реветь, хотя слезы время от времени продолжали капать. Я отняла руки, и Андрей мгновенно стал прежним Андреем, как будто кто-то сильно дунул и погасил свет в его широко открытых глазах.

Это и было самое главное, что произошло во время нашей

встречи. Мы гуляли еще довольно долго, и, между прочим, когда возвращались домой, я сама взяла Андрея под руку, но ничего не случилось, кроме того, что он стал смотреть перед собой совершенно прямо, а я шла некоторое время, чувствуя, что моя рука лежит на чем-то деревянном, согнутом под прямым углом.

К десяти часам я была на складе, и дальше день прошел, как всегда: я читала, составляла библиотечку для рабфака, готовилась к зачету по тригонометрии, который был отложен по моей просьбе на осень. Но ко всему, что я ни делала, кстати и некстати присоединялась мысль об этой странной минуте – как под музыку, когда слушаешь, а сама думаешь о чем-то своем. Сама не знаю почему я вспомнила, как в прошлом году Володя Лукашевич сказал, что любит меня, и мне пришлось долго объяснять ему, что он не имеет права говорить подобные вещи, потому что вообще не знает, что такое любовь.

Это было чудное, благородное объяснение, и я держалась прекрасно, потому что все было ясно: что говорить Володе, а что – мне. А тут ничего не было ясно! Ведь Андрей не сказал, что любит меня.

Из рабфака пришли за библиотечкой, я выдала и продолжала думать... Да, не сказал! Так почему же, вспоминая об этой минуте, я чувствовала себя странно, неловко?

Я думала об этом весь день и, замучившись, решила в конце концов, что было бы гораздо лучше, если бы Андрей

остался тем самым Андреем, с которым мы знакомы с детских лет и который некогда с моей помощью усыплял тараканов...

Кажется, я не очень внимательно слушала старого доктора, хотя лекция была интересная. Андрей, по-моему, тоже не слушал. Мы простились в передней. Он сказал, что напишет мне, как только приедет в Москву. Я вышла и подумала: «Вот и все».

Было уже поздно, стемнело, я шла домой, и ласточки, которые скоро тоже должны были улететь из Лопахина, вились низко над старой часовней. Вот и все! Отец и мачеха, должно быть, уже сидят и пьют. Можно подумать, что как они в день приезда уселись за стол, на котором стояла бутылка, консервы, тарелка с крупно нарезанным хлебом, так и не вставали. Я прошла прямо к Марии Петровне – последнее время мне часто приходилось ночевать у нее – и легла на диван, не зажигая огня. Вот и все! Транзитный поезд Архангельск – Москва пройдет через станцию Лопахин в два часа ночи, а сейчас у «депо» стоит извозчик и Агния Петровна, которая сердится, когда чужие видят, как ей трудно расставаться с детьми, гордо закинув голову, стоит у подъезда. Андрей неловко целует ее. Он садится, извозчик дергает вожжами, и вот медленно начинают двигаться по правую и левую руку старые-престарые, знакомые-презнакомые дома, сады и заборы. Развяжская, Большая Михайловская, Спуск проходят и исчезают. Кто знает – может быть, навсегда?

У меня глаза были полны слез, и я не обратила внимания на стук, доносившийся с лестницы, точно кто-то тяжело застучал сапогами. Входная дверь у нас не запиралась, и, хотя этот тяжелый стук не был похож на шаги Марии Петровны, я все-таки решила, что это вернулась она. Но это была не она. Кто-то постучал в дверь моей комнаты, и отец сказал громко: «Тани нет дома». Я вскочила и распахнула двери. Это был Андрей. Он стоял на верхней ступеньке лестницы в пальто, в высоких сапогах, без фуражки, и у него был нерешительный, растерянный вид.

Не помню, что я сказала, – кажется, просто «Андрей!», а он «Таня!». Потом он бросился ко мне и обнял – так крепко, что даже немного приподнял над полом. Мы поцеловались и стали что-то быстро, бессвязно говорить друг другу. Вдруг он сказал прерывающимся голосом: «Не забывай!»

И побежал по лестнице. Я бросилась к себе, хотела подарить ему что-нибудь на память, не нашла, торопливо спустилась вниз. Пролетка уже заворачивала на Спуск, и извозчик высоко поднимал вожжи, готовясь придержать коня.

Заботы

Это была трудная зима. Вокруг Лопехина в лесах появились банды, остатки «зеленых», и против них приходилось вести настоящую войну, с облавами и засадами. Комсомольцы не были мобилизованы, но многие пошли добровольно,

потому что воинская часть, стоявшая в Петрове, к тому времени была переброшена и милиции не хватало. Я тоже хотела записаться, но девушек не принимали. В общем, банды были ликвидированы в несколько дней, и наши ребята вернулись благополучно, а из заводских погиб Шура Власов, тот самый петроградский комсомолец, который был членом заводского управления.

В середине года был назначен новый директор, поразивший нас, между прочим, тем, что с первого слова предложил комсомольской ячейке, прежде чем решать международные вопросы, навести порядок в собственном доме, а именно: вымыть полы и стены, починить и покрасить парты. Потом он объявил, что главная задача школьника заключается в том, что он должен учиться, и хотя на собрании всего коллектива раздались голоса, что таким образом можно скатиться к старой, дореволюционной школе, в которую тоже ходили, чтобы учиться, точка зрения нового директора победила, и начались регулярные занятия в две смены согласно расписанию, вывешенному в раздевалке.

Разумеется, школьные занятия, которые в конце концов стали отнимать почти все мое время, очень заботили меня в ту памятную зиму. Но были и другие волнения, другие заботы.

Была, например, забота, просыпавшаяся прежде меня. Отец! На ощупь, с закрытыми глазами начинал он шарить

на столе, ища приготовленную с ночи бутылку. Весь день он бродил по комнате, по дому, по городу, а вечером, помолодев, повеселев, с лихо закрученными усами, с красным, сияющим носиком садился за стол. Он приходил ко мне на склад и долго, с туманным выражением гордости следил, как я читаю, составляю конспекты, решаю задачи. Вдруг он начал хвастать мною перед своими гостями, среди которых самым почтенным был нэпман-кондитер, открывший в Лопухине булочную «Симон».

Первое время мне казалось, что отец очень доволен своей судьбой – почему-то это больше всего раздражало меня. В самом деле, ему нравилось все, что он делал: от своих рассказов он был, например, в восторге. Он гордился своим политическим прошлым и был, кажется, искренне уверен, что если бы не он, партизанское движение на Амуре было бы подорвано в самом начале и Дальний Восток навсегда остался бы в руках интервентов и белых. Все, что ни происходило в мире, имело прямое отношение к нему – будь то переезд патриарха Тихона в Донской монастырь или бегство из Константинополя султанской фамилии. В особенности волновался он по поводу «живой церкви»; однажды даже проснулся ночью и сказал торжественно:

– Ну, теперь царству князей церкви конец!

Два-три раза в неделю, принарядившись, побрившись, лихо закрутив усы, под руку с Авдотьей Никоновной, он отправлялся в городской суд. Это было главное развлечение.

Из суда они возвращались оживленные, довольные и весь вечер, перебивая друг друга, горячо обсуждали приговор; причем Авдотья Никоновна, особенно если судили женщину, неизменно требовала более сурового наказания.

Словом, это были счастливые люди. Деньги, которые они привезли с Амура, подходили к концу, но и это мало беспокоило их. Авдотья Никоновна была суеверна и первое время боялась, что мама может явиться ночью и сделать с ней что-нибудь – задушить или выгнать. Но потом она, очевидно, справилась со своими опасениями, потому что из комнаты стали постепенно исчезать мамины вещи. Я сказала об этом Марии Петровне, и она взяла к себе на хранение кашемировую шаль, серьги и книги. Между прочим, это произошло в присутствии отца, и он ничуть не смутился, а только зажмурил один глаз и спросил:

– Во избежание цапе?

Но вот однажды, ложась спать, я нашла под подушкой следующее письмо:

Ненаглядная дочь! На свою жизнь гляжу с отвращением. Хоть пулю в лоб, не боюсь, да, видно, смерть боится меня. Одинок с женщиной, которая всю жизнь была крупной кухаркой – и только. Я просто высох, как скелет, страдая очень тяжело, мне стыдно, что я, твой отец, гублю тебя, бедняжка.

Твой отец.

Я не ответила на это письмо и через несколько дней получила второе, потом третье. Конечно, это были смешные письма – хотя бы потому, что почти в каждом письме он сообщал, что ему «живется все хуже и хуже», как будто мы были за тридевять земель друг от друга. Но было в них и что-то очень грустное, так что теперь, глядя на отца, я начинала смутно догадываться, что он не так уж счастлив, как могло показаться с первого взгляда.

Однажды мы остались одни, Авдотья Никоновна отправилась в гости. У меня немного болело горло, весь день я занималась дома, а к ночи прилегла с книгой и задремала, прислушиваясь к монотонному шуму дождя. Ветер то утихал, то с силой бросал дождь на крышу, и, открывая в полусне глаза, я видела отца, который, опустив голову, ходил из угла в угол, время от времени оглядываясь на меня с робким и беспокойным выражением. Наконец, похлопывая себя двумя пальцами по губам, он остановился подле моей постели. Казалось, он хотел заговорить со мной, но в это мгновение, сама не зная почему, я крепко зажмурила глаза и притворилась спящей. Ветер снова налетел, дождь пронесся по крыше, затих, и, когда я открыла глаза, отец на коленях стоял подле меня и плакал. Я сказала дрожащим голосом:

– Встань, папа.

Не помню, что он стал говорить, наверно, что-нибудь глупое или смешное. Все равно это была минута, когда я поняла: пьет он или не пьет и как бы ни был жалок – это мой отец,

о котором я не могу не заботиться и который любит меня.

Трудно даже сказать, в чем изменились после этого вечера наши отношения. Но они изменились. Я почувствовала это, когда на другой день он впервые заговорил со мной о маме...

Новогодняя ночь

По-прежнему я бывала у старого доктора по воскресеньям и четвергам. Курс кончился, но как-то, заметив, что ему трудно писать – у него стали получаться длинные, дрожащие буквы, похожие на славянскую вязь, – я предложила писать под его диктовку, и с тех пор два вечера в неделю мы проводили за работой: он диктовал, а я записывала и потом читала вслух каждую страницу.

Теперь многое стало для меня гораздо яснее, и «теория защитных сил организма» стала представляться менее туманной, чем прежде. Но чем больше я понимала старого доктора, тем меньше могла справиться с недоверием, неизменно охватывавшим меня, когда начинался разговор о зеленой плесени, которой он с каждым днем придавал все больше значения.

Все-таки это было очень похоже на «навязчивую идею» – есть такая психическая болезнь, от которой очень трудно вылечится на старости лет. Но, словно догадавшись о моем недоверии, он продиктовал мне однажды целую главу о чудесах науки. Суть ее заключалась в том, что почти все вели-

чайшие открытия сперва казались современникам чудесами. Но прошли годы, и оказалось, что это были мнимые чудеса, которые объяснялись в общем довольно просто. «И необычайное имеет право на признание» – этой фразой, тоже очень простой, заканчивалась глава о чудесах науки...

Новый директор школы однажды зашел к старому доктору и просидел целый вечер. Между прочим, он оказался учеником одного товарища Павла Петровича по университету, так что это был интересный разговор о той истории, из-за которой Павел Петрович когда-то был выслан из Петербурга. Директор познакомил Павла Петровича с председателем Лопухинского горсовета, очень живым и оригинальным человеком, и председатель заинтересовался «трудом» Павла Петровича и предложил выпустить его в издательстве Уполитпросвета, хотя подобная книга по своему объему должна была составить почти три четверти годового плана. Но Павел Петрович поблагодарил и отказался.

– Работа еще не закончена. Самое главное – впереди, – сказал он. – Кроме того, я еще не потерял надежды получить ответ от Т., которому послан краткий очерк работы.

Словом, бывали вечера, когда старый доктор даже отменял наши «диктовки», потому что у него собирались эти уважаемые люди. Но вот пришел день, когда я встретила у него человека, которого едва ли можно было назвать уважаемым.

Это было в канун нового, 1923 года, и я забежала к Павлу

Петровичу днем, потому что вечером в Доме культуры был костюмированный бал. Без сомнения, я была глубоко занята обдумыванием этого важного дела, иначе с первого взгляда узнала бы полного человека в прекрасном сером костюме, который вышел из комнаты старого доктора и остановился в передней, чтобы снять с вешалки шляпу.

Агаша тоже стояла в передней, и, обернувшись, я заметила, что он сунул ей в руку смятую бумажку – кажется, деньги, нечто знакомое почудилось мне в этом движении. Потом, надев шляпу и взяв трость, он в распахнутом пальто двинулся к двери, и я вдруг поняла, что это Раевский.

Я не видела его с тех пор, как сани, в которых лежала полумертвая Глашенька, стояли у нашего дома в посадке и он, пугливо оглядываясь, застегивал полсть – застегивал, и что-то подлое было в этих путающихся, дрожащих движениях. С тех пор из неуклюжего гимназиста он превратился в солидного мужчину, прекрасно одетого в пальто с меховым воротником шалью, в шляпе, небрежно откинутой на затылок. Но что-то подлое осталось, и я невольно подумала об этом, хотя он только мелькнул и исчез за распахнутой дверью.

– Павел Петрович, вы знаете, кто был у вас? – закричала я, бжевав в комнату старого доктора.

– Да, Таня.

У него был очень расстроенный вид.

– Раевский!

– Да, да.

– Зачем он приходил? Кто он теперь? Так одет прекрасно. Он будет жить в Лопяхине? Вы разве были знакомы?

– Нет, – сказал Павел Петрович. – Он, по-видимому, издатель... То есть владелец издательства.

И он показал мне сложенный пополам кусочек картона, на котором были напечатаны названия книг и наверху большими буквами: «Издательство „Время“».

– Он хочет издать ваш труд?

– О нет! – отвечал Павел Петрович.

Всегда я смело спрашивала его, чем он расстроен, и он отвечал, потому что огорчения были связаны с его теперешней жизнью, проходившей перед моими глазами. Но с детства я знала, что у него были еще и другие, особенные огорчения, о которых он никогда не упоминал, – огорчения, касавшиеся того далекого, забытого мира, в котором некогда жили высокий, широкоплечий господин, стоявший на мосту над рекой, и дама с темными глазами, любившая сниматься в таких необычайных нарядах. Мне показалось, что сейчас Павел Петрович расстроен чем-то, пришедшим оттуда, и хотя было очень интересно узнать, при чем здесь Раевский, лучше было ничего не спрашивать. И я не спросила.

Мы поздравили друг друга с наступающим Новым годом, и, с трудом разобравшись в своих записках, Павел Петрович стал диктовать.

Это было в три часа ночи. Мы возвращались из Дома

культуры, и у всех девочек так болели ноги от танцев, что хоть снимай туфли и иди в чулках по сияющему голубому, в искорках, снегу. Леночка Бутакова заговорила о гадании, и оказалось, что никто не знает, когда полагается спрашивать у прохожего имя: одни говорили, что под Новый год, а другие – в сочельник. Мы шли по Овражкам, спорили, громко смеялись – и невольно присмирели, когда какой-то человек показался вдали, на пустынной набережной, пересеченной косыми тенями деревьев.

– Ну что, девочки, слабó спросить? – сказала Леночка.

Единственный фонарь горел на Овражках, и, когда скрывалась луна, его свет казался большой воронкой, в которой, крутясь и падая, мелькали снежинки. Мы приближались с противоположных сторон – мы и этот человек, у которого был какой-то нелопахинский вид.

– Эх вы, трусихи!

И когда между нами оставался только свет фонаря, Леночка выступила вперед и спросила звонким голосом:

– Как ваше имя?

Это было мгновение, когда все произошло одновременно: я негромко вскрикнула, узнав Раевского, девочки засмеялись и стали прятаться друг за друга, и луна вышла из-за облаков как будто нарочно для того, чтобы осветить это полное лицо, на котором появилось ироническое выражение.

– Позвольте осведомиться, с какой целью вам угодно узнать мое имя? – неторопливо спросил он. – Не думаете ли

вы, что, если бы даже меня звали Лоренцо Великолепный, вы избежали бы печальной участи стать женой какого-нибудь Федьки или Васьки?

Он коротко засмеялся и двинулся дальше, а мы остались стоять. Нельзя даже сказать, что мы обиделись, – это было что-то совсем другое. Как будто пропасть открылась между этим человеком и нами и на том краю он стоял и грозился – кому, за что? Девочкам, которые шли домой после бала и просто расшалились, потому что никто, разумеется, не верил в это смешное гаданье!

Давно исчезла вдали угловато шагающая фигура, давно мы говорили о другом, а в душе все оставалось неприятное чувство, точно в темноте новогодней ночи мы наткнулись на что-то скользкое, упругое, мимоходом ужалившее нас и проскользнувшее мимо.

Старая история

Я не торопилась проснуться, потому что день Нового года всегда был какой-то нескладный. Но мне почудилось, что надо мной говорят о Лоренцо Великолепном, и, хотя я знала, что еще можно спать и спать, глаза открылись сами собой. Да, говорят! Правда, не о Лоренцо Великолепном, но все равно это был голос Раевского – вот что меня поразило.

Еще минуту я лежала прислушиваясь, потом вскочила и между створками ширмы увидела отца, который стоял перед

кем-то, склонив голову набок и потирая руки.

– Таня, а ведь тебя ждут, – сказал он, услышав, что я проснулась.

– Меня?

– Да... Виноват, как имя-отчество?

– Сергей Владимирович.

– Вставай, вставай, ленивица, – фальшивым голосом сказал отец. – Сергей Владимирович, может быть, угодно чаю?

У меня дрожали руки, когда я одевалась, и в голове вдруг начало шуметь от волнения. Раевский пришел ко мне? Это еще что за новости? И с какой стати отец говорит таким фальшивым голосом и так противно потирает руки?

Очевидно, я вышла из-за ширмы с очень гордым видом, потому что Раевский усмехнулся. Мне захотелось убить его, когда я увидела эту усмешку. Но он вежливо встал и поклонился.

– Здравствуйте, Таня, – сказал он. – Мы разбудили вас?

Я ответила холодно:

– Ничего, пожалуйста.

Раевский внимательно посмотрел на меня. Не знаю, угадывал ли он, что я его ненавижу, но на его полном лице с моргающими глазами появилось озабоченное выражение.

– Я слышал, – начал он, – что вы хорошо знакомы с Павлом Петровичем Лебедевым, которому в Лопяхине я прежде всего засвидетельствовал свое глубокое уважение. Теперь вам представляется возможность оказать ему большую услу-

гу.

Он помолчал.

– Эта история началась давно, в восьмидесятих годах прошлого столетия, когда не только вас, но и меня, разумеется, не было на свете. В эти далекие времена жила-была знаменитая актриса, которую знал и уважал каждый образованный человек в России. Звали ее Ольга Петровна Кречетова – без сомнения, вы слышали это имя?

– Да, слышала.

Я не только слышала о Кречетовой, но много читала. Например, в книге «Знаменитые актеры и актрисы» ей была посвящена целая статья, причем автор утверждал, что Кречетова играла так хорошо, что драматурги писали для нее специальные роли.

– Мне случалось видеть ее, когда она была уже пожилой женщиной, – продолжал Раевский, – и могу сказать, что ее игра оставила незабываемое впечатление. Более тридцати лет она играла на сцене Александрийского театра...

Отец слушал его, открыв рот – не в переносном, а в буквальном смысле этого слова. Видно было, что Раевский не просто нравился ему, но поразил в самое сердце. Я не выдержала наконец и, подойдя к нему сзади, сказала шепотом:

– Папа, подожди меня, пожалуйста, у Марии Петровны.

Он испуганно оглянулся, кивнул и вышел.

Это произошло как бы между прочим, и Раевский не слышал, что я сказала отцу. Но, должно быть, он вообразил,

что я нарочно выпроводила его, чтобы дать ему, Раевскому, возможность говорить со мной откровенно, потому что из любезного солидного человека он вдруг превратился в того угловатого, мрачно-иронического субъекта, которого мы встретили ночью и в котором мелькнуло сейчас даже что-то страшное, точно он не мог справиться с бушевавшим в нем отвращением.

– Ну вот что, – отрывисто сказал он, – я здесь не для того, чтобы тратить время на воспоминания. Дело обстоит значительно проще. Во оны времена старик переписывался с Кречетовой, и у него сохранилась пачка ее писем. Мне нужны эти письма. Они должны быть у меня самое позднее завтра. Условие – пятерка за письмо. Задаток – сегодня.

Это было ужасно, что я так растерялась! Но я растерялась не только потому, что он ошеломил меня своей наглостью, но и потому, что тысячи догадок мгновенно мелькнули передо мной. Так вот кто эта красивая дама с темными глазами, любившая сниматься в таких необычайных нарядах! Вот почему старый доктор никогда не говорил о своей любви – это было горькое воспоминание!

– Ну-с? – нахально моргая, спросил Раевский.

Я закричала:

– Пошли вон!

Нужно было сказать: «Пошел вон!» Это было глупо, что я гнала его и в то же время обращалась на «вы». Но мне было не до грамматики. У меня все дрожало в душе, и очень хоте-

лось ударить Раевского лежащим на окне медным пестиком, которым Авдотья Никоновна всегда колола орехи...

– Павел Петрович, вы только подумайте, он был у меня!

Доктор дремал, когда я вбежала к нему не раздеваясь, и не сразу очнулся – прежде сделал рукой козырек над глазами и посмотрел на меня.

– Кто был?

– Да Раевский же! Он подговаривал меня, чтобы я у вас письма стащила! Ему зачем-то нужны письма Кречетовой, он меня уверял, что она вам писала. И кто мог его направить ко мне? Я видела, как он Агаше деньги совал! Какой негодяй! Я его выгнала, а он не ушел, то есть ушел, но к Марии Петровне, и они там с отцом еще целый час говорили. Тьфу, толстая, противная рожа! Павел Петрович, это правда, что она вам писала?

– Да, Таня, – сказал старый доктор. – Мы когда-то были друзьями.

Он не очень расстроился, только удивился, когда я сказала, что Раевский был у меня.

– Но зачем, зачем ему эти письма?

– Он хочет издать их.

– Как издать? Напечатать?

– Ну да.

– Как же он смеет издавать личные письма?

– Видишь ли, это была знаменитая актриса. И теперь, ко-

гда она умерла (мне показалось, что он с трудом выговорил последнее слово), разные ничтожные люди пытаются... ну, хоть заработать на ее имени, что ли... Об этих письмах никто не знает, потому что... это действительно личные письма. И вот разные темные дельцы вроде этого Раевского...

Он задумался, потом окончил печально:

– Когда я умру, Таня, ты сожги эти письма.

– Полно, Павел Петрович, – я поцеловала его, – не будем больше говорить об этом. А если Раевский еще раз придет, все равно – ко мне или к вам, мы скажем Иванову (это была фамилия председателя горсовета), и пускай он распорядится, чтобы Раевского посадили в тюрьму. Ведь это преступление – то, что он мне предлагал! Вы бы слышали, как он со мной разговаривал! Это человек двуличный.

– Двуличный.

– Ну все равно, двуличный. Черт с ним! Помнится, вы меня учили, что, когда в жизни случается неприятность, нужно только объяснить себе ее причину – и на душе сразу станет легче. Я объяснила?

– Да.

– Ну вот, а теперь давайте работать...

Но от Раевского не так-то легко было отделаться, и я потом пожалела, что действительно не сказала о нем председателю горсовета. Ко мне, правда, он больше не приходил, но у доктора был еще два раза, и в конце концов Агния Петровна при мне строго-настрого сказала Агаше, чтобы она больше

на порог не пускала этого «проходимца».

Решение

Теперь, сидя у Павла Петровича, я уже с другим чувством смотрела на фотографии дамы с темными, грустными глазами. Что помешало ей выйти замуж за Павла Петровича в те времена, когда он был молод и хорош собой? Очень хотелось спросить об этом у старого доктора, но я не решалась и только перечитывала без конца статью о Кречетовой в книге «Знаменитые актеры и актрисы».

Потом я нашла еще несколько книг, в которых рассказывалось о ней, и постепенно ее жизнь открылась передо мной. Оказывается, с восьми лет она участвовала в спектаклях; причем один автор рассказывал, как, изображая в трагедии «Уголино» умирающего от голода мальчика, она заметила, что ее подруга, вместо того чтобы «мучиться от голода», спокойно уписывает кусок пирога. Это так не понравилось маленькой артистке, что, недолго думая, она вырвала пирог и бросила за кулисы. Подруга стала плакать, и режиссеру пришлось потихоньку убрать ее со сцены.

Другой автор написал, что Кречетова была натурой «чисто женственной» и что в каждой роли она не только находила симпатичные черты, но выдвигала их на первый план, «стараясь вызвать сострадание даже к такой грешнице, как леди Макбет». Всего она сыграла около трехсот ролей. Трех-

сот! Это было почти невозможно представить себе. Сколько душевных сил нужно, чтобы сыграть триста ролей, если мне для единственной – правда, немой, но все-таки хорошей роли – пришлось буквально потерять равновесие духа!

Да, теперь я не сомневалась, что должна посвятить свою жизнь театру. Недавно в газете «Искусство Коммуны» я прочитала, что самым важным искусством Ленин считал кино, и мне стало казаться, что отсвет этого имени лежит на моей тайне, о которой я до сих пор никому, кроме Андрея, не сказала ни слова.

Давно уже распределила я свой день, а теперь и ночь, потому что дня не хватало. Утро, когда приходилось комплектовать и выдавать книги, было отдано школьным предметам. После обеда я отправлялась в школу, а вечером... о, вечером начиналось самое главное! Крадучись, чтобы никто не видел, я возвращалась в подвал, запирала тяжелую железную дверь, заслоняла большой гравюрой окно, чтобы с улицы не увидели света, и принималась за подготовку в Институт экранного искусства.

Это было очень трудно, главным образом потому, что из книг по кино у меня была только серия «Синема – чудо XX века», а все другие – по драматическому театру. Для подготовки в Институт экранного искусства важнее всего была мимика, а в этих книгах о ней не говорилось ни слова. Наконец я нашла то, что нужно: «Хрестоматию для упражнений в словесном и мимическом выражении чувств», и с этого дня

моя жизнь таинственно раздвоилась, потому что я стала выдумывать и исполнять «этюды».

Что же такое были «этюды» и почему для будущей артистки кино они имели такое большое значение? Этюды, или монопьесы, были, как утверждала хрестоматия, самым верным средством, чтобы сознательно усвоить законы, управляющие языком телодвижений.

Большинство этюдов начиналось со слов: «Представьте себе, что...» И я представляла. Чего я только не представляла! То мой подвал превращался в дом Ростовых из «Войны и мира», а я – в Наташу, с трепетом ожидавшую Анатоля Курагина, который должен похитить ее. То подвал оставался подвалом, но зато я становилась Скупым рыцарем, который дрожащими руками зажигал свечи и открывал свои сундуки один за другим. Это были этюды из литературы, а из жизни, тоже хорошие, я придумывала сама.

В складе было холодно, время от времени приходилось бегать, хлопая спереди и за спиной руками, как это делают извозчики, чтобы согреться. Кроме того, той зимой мне ежеминутно хотелось есть, так что я даже пугалась иногда, что заболела какой-то неизвестной болезнью. Но что значили эти мелочи в сравнении с фантастическими переходами из одного существования в другое, с переходами, от которых все больше и больше разгоралось в душе счастливое чувство полета!

Настало то переходное время, когда утро начиналось с метели, а в полдень была уже оттепель, и хрупкий, потемневший снег оседал на глазах – так у нас в Лопяхине начиналась весна.

У доктора было холодно, и, когда я вошла, он сказал, что лучше мне остаться в пальто. Он тоже накрылся пальто, даже забрался в него с головой, и диванная подушка лежала на его коленях, укутанных шалью. Но у него был хитрый вид – это меня удивило, – и глаза из глубины пальто блестели по-детски лукаво.

Мы не стали писать в этот день: я опоздала, и доктор, должно быть, успел уже изложить свои мысли, потому что исписанный лист бумаги лежал перед ним на столе.

– Сегодня думал о своей жизни, – поглядывая с довольным видом на этот лист, сказал он, – занятие, которому, между прочим, не предаюсь почти никогда. А ты, Таня?

– Наоборот, очень часто.

Я устроилась на скамеечке, и мне захотелось спать.

– Это преимущество молодости, – продолжал Павел Петрович, – а старики, уверяю тебя, заняты в большей степени настоящим, чем прошлым. Так вот мне пришло в голову, Таня, что я прожил не одну, а несколько жизней, исключавших друг друга. Моя молодость – это была молодость одного человека, зрелость – другого, а старость – третьего... Поддай мне, пожалуйста, лупу.

Я подала ему лупу, и он все с тем же веселым выражени-

ем стал рассматривать лежавшую перед ним страницу. Меня заинтересовала эта страница, но я поленилась встать – уж очень удобно было дремать на скамеечке, поджав под себя ноги и укрывшись пальто.

– Не помню, где я читал, – продолжал Павел Петрович, – что известный поэт Рембо впоследствии стал спекулятором, даже, кажется, работорговцем, и больше уже ничего не писал. Значит, у него было две жизни, причем вторая исключила первую и полностью заняла ее место. А у меня целых три, – с детским удовольствием сказал доктор, – и за третью, черт побери, я, не задумываясь, отдаю и первую, и вторую!

Я подумала, что к первой жизни, очевидно, относится фото, на котором высокий, широкоплечий господин, легко опершись на перила, стоит над рекой; и другие фото – красивая дама, любившая сниматься в таких разнообразных костюмах; и то, о чем Павел Петрович редко рассказывал, – Петербургский университет, работа над научными переводами, столкновение с каким-то профессором Ционом, и участие в политической демонстрации, когда его лишили права преподавания и выслали в маленький городок. Вторая жизнь – это был Лопахин, когда, стуча палками, он бродил по дому в измятых штанах, засунутых в огромные боты, когда, согнувшись, он писал свой «труд» – в пустоте, в одиночестве, как на дне глубокой реки. А третья?

Я спросила:

– Третья – это то, что происходит теперь?

– Да, – серьезно ответил Павел Петрович. – Это надежда, без которой очень трудно не только работать, но и жить.

Шум подкатившей пролетки послышался у подъезда, и чей-то женский негромкий, уверенный голос, от которого мое сердце пугливо забилося, сказал извозчику:

– Поддай чемодан.

– Кажется, кто-то приехал? – тревожно спросил Павел Петрович.

– Глафира Сергеевна приехала.

Ничуть не торопясь, я взглянула в окно и пошла открывать двери – кроме нас с доктором, никого не было дома.

Сон

Очевидно, все это было обдуманно заранее, хотя мне показалось странным, что Агния Петровна, с которой я встречалась почти каждый день, даже не заикнулась ни разу о своем переезде в Москву. Впрочем, последнее время у нее был расстроенный вид, она жаловалась на бессонницу, похудела. Прежде ее гордое лицо сразу менялось, едва она снимала пенсне и открывались светлые добрые глаза с немного испуганным выражением. Теперь и в пенсне она стала казаться испуганной, оскорбленной. Без сомнения, Митя давно предлагал матери переехать к нему в Москву, но она колебалась, взвешивала, не решалась – по многим причинам, одна из которых теперь явилась передо мной в виде молодой женщи-

ны в прекрасном синем пальто с беличьим воротником, в небрежно сдвинутой назад шапке с ушами...

Каждый раз, когда я видела Глафиру Сергеевну, она казалась мне непохожей на ту, которую я видела прежде. Но никогда еще это несходство так не поражало меня – едва войдя в дом, она объявила, улыбаясь, что приехала за мамочкой – так она называла Агнию Петровну. Я видела ее хрупкой девушкой, нерешительной, с несмелыми движениями, которые были полны прелестью молодости и чистоты. Я видела ее потрясенной, стремящейся вырвать у судьбы свое печальное, страшное счастье. Я видела ее молчаливой, разбитой, идущей поближе к стенам домов, чтобы никто не заметил ее, не подумал о ней. Теперь в Лопяхин приехала уверенная, властная женщина, вежливо, но нехотя улыбающаяся, в то время как большие глаза оставались неподвижно мрачными на красивом, бледном лице.

Она много говорила о Мите, но почему-то получалось, что она все время говорит о себе. Не кто другой, как она, убедила его поступить в частную лечебницу – это хорошо оплачивалось, – в то время как Митя собирался работать в научно-исследовательском институте. Словом, если судить по этим рассказам, Митя пропал бы в суматохе столичной жизни, если бы она не поддержала и не вразумила его.

– Но что касается ваших, мамочка, дел, – твердо сказала она Агнии Петровне, – я выполняю его пожелание, и только. Это значит, что Митя просит, чтобы Агния Петровна

немедленно переехала в Москву, предоставив Глафире Сергеевне распорядиться лопахинской квартирой по своему усмотрению. «Митя сказал», «Митя думает», «Митя пишет», – слышалось почти в каждой фразе. И Агния Петровна, к моему изумлению, покорно подчинялась всему, что требовала от нее Глафира Сергеевна.

С чувством горечи наблюдала я, как эта женщина, еще недавно такая деятельная, решительная, гордая, умевшая так спокойно держаться, поддалась чужому влиянию. Должно быть, она устала очень давно, много лет назад, и долго не признавалась себе, что устала, и теперь в глубине души была даже благодарна «молодым», которые с такой готовностью взяли на себя все домашние дела и заботы. Я думаю, что за эти несколько дней она сделала больше ошибок, чем за всю свою жизнь. И самой большой, самой непоправимой из них была та, что она уехала, поверив Глафире Сергеевне, что Павел Петрович останется у себя, в своей комнате, и будет жить, как и прежде, под присмотром Агаши.

– Можете совершенно не волноваться, мамочка, – это было сказано при мне. – Митя говорил, что дядю нужно устроить. И я устрою его наилучшим образом, хотя бы для этого пришлось остаться еще на несколько дней.

И Агния Петровна уехала утром шестого февраля, а вечером, когда я, как всегда, зашла к старому доктору, Агаша, расстроенная, заплаканная, позвала меня и сказала, что Глафира Сергеевна собирается отправить его в Дом инвалидов.

На первый взгляд это было разумно – почему бы старому человеку не провести последние годы жизни в инвалидном доме? В бывшем особняке купца-миллионера Батова был недавно открыт хороший Дом инвалидов. И все-таки отправлять туда Павла Петровича было жестоко. Ведь последние годы, или, может быть, месяцы своей жизни он должен провести один, лишенный всего, к чему так привык.

Очевидно, это не приходило в голову Глафире Сергеевне, потому что она отправилась в Дом инвалидов и, вернувшись, сказала, что «все устроено» и что «там очень прилично».

Она почти не замечала меня – как личность, не имеющую отношения к ее делам и, следовательно, не заслуживающую внимания. Агашу, которая прослужила у Львовых чуть ли не двадцать лет, она предупредила о расчете и сама хозяйничала в доме, из которого каждый день что-нибудь выносили – мебель она решила продать, а в Москву увезти только пианино, посуду и книги. Засучив рукава, озабоченно-жадно поглядывая по сторонам, она снимала с антресолей разную рухлядь и внимательно рассматривала – выбросить, взять с собой, продать? Два огромных ящика стояли посреди столовой, в один Глафира Сергеевна укладывала книги, в другой – посуду, и я почему-то сердилась, что все у нее получается так умело и ловко.

– Ну-ка, подсоби, – однажды сказала она мне на «ты» и, без сомнения, забыв мое имя.

Я взглянула на нее – и прошла мимо...

...Теперь я знала, откуда взялось то детски высокое состояние души, в котором я нашла Павла Петровича в день приезда Глафиры Сергеевны, и почему оно не покидало его. Надежда сияла в его старых глазах, когда он принимался читать мне письмо, начинавшееся словами: «Дорогой Владимир Ильич».

Оно делилось на две половины: теоретическую, в которой Павел Петрович кратко излагал свою теорию, и практическую, в которой он предлагал создать первый в мире «Институт защитных сил природы», указывая, что «создание подобного учреждения не только принесет бесспорную пользу советскому здравоохранению, но снова поставит впереди всех русскую научную мысль».

«В минуты, когда, оглянувшись вокруг, с душевным трепетом замечаешь, что один стоишь перед судом потомства, – так оканчивалось письмо, – невыразимо отраднo было бы убедиться в том, что это потомство заживо отпускает твои грехи, одобряет твоё стремление к истине и с уважением смотрит на твой путь бескорыстного служения народу».

Это был один из многих вариантов, понравившийся мне своей простотой. Но Павел Петрович продолжал править и переписывать письмо, хотя от этих бесконечных поправок оно, по-моему, не становилось лучше. Каждый вечер он читал мне письмо, так что в конце концов мне приснилось, что я вхожу к Ленину в кабинет и говорю ему: «Здравствуйте, Владимир Ильич», и все становится так просто, как бывает

только во сне.

Но вот – это было через несколько дней – я нашла Павла Петровича в каком-то болезненном забытии. Кажется, невозможно было выглядеть старше, чем он, а оказалось – возможно. Он был не причесан, борода торчала, ворот рубашки не застегнут, хотя в комнате было холодно, дуло от окна.

– Павел Петрович!

Он не сразу узнал меня. Опущенная на грудь голова медленно поднялась, но взгляд еще был неопределенно-далеким.

Мне показалось, что я поняла, чем он так глубоко расстроен.

– Павел Петрович, я вчера была в этом доме. Я буду приходить к вам с утра. Это очень близко от склада. Мы будем читать вслух и, как прежде, писать под диктовку.

Я села на скамеечку, и он молча положил на мое плечо дрожащую руку.

– Не правда ли, ведь остаться здесь одному было бы еще тяжелее?

Какое-то усилие прошло по лицу Павла Петровича, точно комната еще кружилась перед его глазами и нужно было остановить комнату, чтобы услышать, о чем я говорю.

– Сегодня ночью я не спал, все думал, – сказал он наконец. – Ведь это очень странная вещь – сознание, что ты не можешь освободиться от вызванных тобою духов.

Он вовсе не бредил – напротив, с каждой минутой голова

становилась яснее.

– Болезненное чувство, что пройдет год или два после выхода труда и твоя идея начнет жить самостоятельно и – кто знает! – пойдет такими путями, которые ты не предвидел. – Он помолчал. – И не одобряешь...

Я поняла, что речь идет о его теории, то есть что, если он умрет, теорию не поймут или станут развивать в ложном направлении. У меня сердце томилось от невозможности помочь ему, утешить, а он и не думал о себе! Я едва справилась со слезами.

Только теперь я заметила на столе распечатанный конверт, лежавший отдельно, в стороне от журналов и книг, точно в нем заключалось что-то холодное, опасное – то, над чем еще нужно было подумать. Взгляд Павла Петровича, усталый, но спокойный, остановился на нем, и я вдруг поняла, что это ответ от Т. – желанный ответ, на который старый доктор так надеялся и от которого ждал так много!

– Павел Петрович... вы сегодня получили это письмо?

Он кивнул.

– Это пишет вам Т.?

– Нет, – отвечал старый доктор.

Он опустил голову, вздохнул и замолчал – так надолго, что мне стало страшно, и я тихонько коснулась его руки.

– Ты разве не знаешь, Таня? – очнувшись, спросил он. – Т. умер.

– Да полно, что вы говорите! Как умер?

– Да, да. Вчера было в газетах.

И дрожащей рукой он протянул мне конверт.

Это был отзыв о рукописи, которую Павел Петрович диктовал мне последнее время, – холодный, грубо-иронический, уничтожающий отзыв. Какой-то Коровин находил, что, хотя автор посвятил всю свою жизнь изучению плесени, он, очевидно, не знаком с работами Рейнгардта и других видных представителей западноевропейской науки. Что касается самой теории, то она в этом отзыве признавалась детски вздорной и лишённой какого бы то ни было научного смысла.

– Это ничего не значит... – У меня был неуверенный голос. – И вообще... Нужно было послать вашу рукопись Мите. Он отнес бы ее в научный журнал, и тогда все могли бы судить о ней. Вы рассказывали о своей теории Мите?

Павел Петрович ответил не сразу – я успела пожалеть, что спросила. Тень прошла по его лицу, но вскоре оно стало еще светлее, чем прежде.

– Да, – просто сказал он. – Пытался.

Старый доктор задумался, и мы долго молчали. Потом он опять заговорил о Мите, и то, что я слышала, глубоко поразило меня.

– Это человек сложный, – сказал он. – Честолюбие и прямота, которая может так же повредить ему, как некогда мне. Блеск ума и слепота эгоизма. Воля и странная способность легко поддаваться влиянию. Чувствительность, холод и над всем этим огромная, все ломающая жажда жизни.

Тишина

Глафира Сергеевна уехала девятого марта, а накануне старый доктор был отвезен в Дом инвалидов. Это произошло без меня, и, когда вечером восьмого марта, сразу после собрания по поводу Женского дня, усталая, но веселая, я зашла в «депо», незнакомая женщина в подоткнутой юбке уже мыла полы, окна были распахнуты, обои сорваны, и в квартире было так пусто, как будто сюда сто лет не заглядывала ни одна живая душа. Я зашла в комнату старого доктора – и там все пусто, разорено. Только фисгармония, которая, без сомнения, была так плоха, что никто не захотел ее купить, стояла в углу, да моя скамеечка валялась подле нее вверх ногами. Мне захотелось стащить скамеечку, и я бы стащила, если бы женщина в подоткнутой юбке не зашла вслед за мной, чтобы спросить, что мне нужно. Мне ничего не было нужно, решительно ничего, и, разумеется, ей показалось очень странным, что какая-то девушка, войдя в опустевшую комнату, никак не может заставить себя уйти и долго бесцельно стоит подле дряхлого, покрытого пылью инструмента. Очевидно, эта девушка так и не научилась, подобно знаменитой киноактрисе, «испытывая боль, изображать безмятежность».

В этот день мне не удалось навестить Павла Петровича: было поздно, и меня не пустили. Зато десятого я пришла с

утра. И увы! Оправдалось все, что заранее огорчало меня. Его поместили в просторную, светлую комнату, но сосед – бывший артист – был недоволен и заявил заведующему, что он не станет жить со стариком, который может умереть в любую минуту. Не знаю, дошло ли это до Павла Петровича, но он был в тоске, ничего не ел и лежал, повернувшись к стенке. Некоторые вещи были перевезены – кресло, курительный столик и другие, – но какими странными казались они в этой непривычной комнате, как жались в углы, как робко извинялись за старость!

Доктор беспокоился о своем чемодане: при переезде чемодан с его бумагами куда-то пропал. Я пошла выяснить, и оказалось, что чемодан проходит дезинсекцию – будет окуриваться серой. Насилу удалось мне убедить заведующего, что научный труд не нужно подвергать дезинсекции. Чемодан был принесен, поставлен под кровать, и, немного успокоившись, Павел Петрович поговорил со мной. Но у него были тусклые глаза, и я с трудом убедила его выпить стакан чаю.

Прямо из Дома инвалидов я побежала в горсовет. Председатель, который знал Павла Петровича, был в отъезде, и я дождалась приема у его заместителя, хотя пришлось просидеть очень долго, и почти весь день Павел Петрович провел без меня. Я была расстроена и поэтому удивительно бестолково рассказала о том, что произошло. Но насчет Глафиры Сергеевны я рассказала толково. Она у меня получилась как живехонькая, так что заместитель председателя горсовета

та несколько раз изумленно кричал, а потом сказал, что начинает разбираться в некоторых загадочных действиях своего жилотдела.

– Родители этой гражданки (он имел в виду Глафиру Сергеевну) намерены вернуться в Лопяхин. И она в жилотделе хлопотала комнату, это мне известно. Ну-с, а тут имеется налицо прекрасная комната, насчет которой нетрудно сговориться при наличии доброго желания с обеих сторон, то есть со стороны данной гражданки и жилотдела. Так-с. Посмотрим! А насчет Павла Петровича ты не беспокойся. Нет худа без добра! Сделаем, что на новоселье ему будет лучше, чем дома. Завтра сам зайду и все устрою...

Но назавтра Павлу Петровичу стало хуже. Я видела, что хуже, хотя он ни на что не жаловался и даже сказал мне, что совершенно здоров. Ночью у него был припадок, а теперь все прошло, и он чувствует себя превосходно. Он останавливался надолго после каждого слова. «Но это, – сказал он, – просто от усталости после бессонной ночи». Доктор Беленький знал Павла Петровича и охотно согласился прийти. Он осмотрел его и сказал, что «непосредственной опасности нет». Но Павел Петрович от души рассмеялся и, когда я принесла ему микстуру, вылил ее в плевательницу дрожащей, но аккуратной рукой.

– Некогда, Таня, – неторопливо сказал он.

Я спросила, куда он торопится, и он ответил спокойно:

– Пора отдохнуть.

К вечеру ему стало так плохо, что он мог уже только показать рукой, чтобы я повыше взбила подушку. Мучительное нетерпение овладело им – можно было подумать, что он терзается невозможностью умереть сию же минуту. То он просил пить; то, едва я подносила стакан к губам, отводил мою руку; то метался, раскидывая все вокруг, ухватившись за простыню зубами; то манил кого-то слабой рукой, но не меня, потому что сердито закрывал глаза, когда я наклонялась.

– Пора отдохнуть, – снова со вздохом повторил он, – пора отдохнуть...

Я не знала, что он просил похоронить его без церковных обрядов. У нас в эту пору не бывает цветов, но я наломала много кедровых веток, и большие венки – от горсовета, от уездной больницы и мой – выглядели очень красиво среди длинных темно-зеленых игл. На похороны пришли очень многие. Павла Петровича знали и любили в Лопяхине. Именно с этого начал свою речь председатель горсовета, который рассказал краткую биографию старого доктора и особенно остановился на том факте, что он как «политический» был некогда выслан в Сибирь. Потом выступил один пожилой рабочий с кожзавода, которого я, между прочим, никогда не видела у Павла Петровича, – наверное, это было очень старое знакомство, задолго до того, как я попала в «депо».

– Теперь легко, – сказал он, – когда советская власть

утвердила бесплатную помощь. А кто в царские времена всегда безвозмездно лечил бедного человека? Павел Петрович!

Доктор Беленький произнес сердечную речь о старом докторе как деятеле науки. Несколько минут все стояли молча после этой речи, потом разошлись, и я осталась одна – хотела еще зайти на могилу к маме, и, кроме того, нужно было условиться насчет дощечки на могилу Павла Петровича с датами рождения и смерти.

Не знаю, откуда инвалиды взяли, что я его внучка, но даже у заведующего по этому поводу не было ни малейших сомнений, потому что, когда я зашла, чтобы поблагодарить, он сказал, что я, как единственная находящаяся в городе родственница Павла Петровича, могу, если мне угодно, взять его вещи. И я взяла – фото, чемодан с бумагами и курительный столик. В этот же день я принялась разбирать бумаги – мне хотелось найти письмо к товарищу Ленину, письмо, которому старый доктор придавал такое значение! Однако я нашла лишь все те же черновые варианты, перечеркнутые тысячу раз, с фразами, оборванными на полуслове. Можно было попробовать как-нибудь соединить их и составить письмо. «Но зачем? – грустно подумалось мне. – Ведь Павел Петрович уже никогда не отправит его».

И, сложив все черновики в отдельную папку, я решила посоветоваться об этом с Андреем.

Но было еще одно дело, о котором мне не с кем было посоветоваться и которое лежало передо мной в виде узких,

старомодных конвертов. Письма Кречетовой! Мне очень хотелось прочесть их, и, наверное, я не удержалась бы, если бы Павел Петрович не сказал: «Сожги их, Таня». Но это было сказано в тот день, когда Раевский непременно хотел получить и издать эти письма, и сказано именно для того, чтобы этого не случилось. Больше Павел Петрович не повторял своей просьбы – вот почему в тяжком раздумье сидела я над письмами Кречетовой, не зная, на что решиться. Сжечь их? Сохранить у себя? Передать Агнии Петровне, Андрею? Одно письмо выпало, и я невольно прочитала несколько фраз: «... Не люблю писать тебе наскоро, в повседневной обстановке. Но когда ты предстаешь передо мной, как живой, когда нарастающая потребность видеть тебя становится неотступной...»

Точно что-то трепещущее было в моих руках, и вот я должна бросить в огонь это трепещущее, живое! Нет! Да и не все ли равно? Ведь теперь о любви старого доктора знаю только я и больше никто на свете.

И, продумав целую ночь, я наутро аккуратно перевязала письма Кречетовой и вместе с другими бумагами Павла Петровича положила обратно в его чемодан.

Всю зиму Андрей писал мне интересные, длинные письма. В одном из них он спрашивал, читала ли я Сеченова «Рефлексы головного мозга», и приводил цитату, над которой думал несколько дней и которая в конце концов убедила его,

что нужно жить на собственный счет, переехав от Мити в общежитие. Дальше шли рассуждения о том, что можно ли существовать на 41/2 копейки золотом по курсу Госбанка. Андрей доказывал, что можно. Очевидно, почтовые марки входили в этот бюджет, потому что следующее письмо пришло почти через месяц.

Он любил описывать Москву и, между прочим, в одном письме перечислял звуки одной из главных улиц – Арбата.

«Представь себе, что ты одновременно слышишь скрежет и звонки трамвая, громыханье ломовиков, жужжание авто, щелканье лошадиных подков и шум экипажей, крики мальчишек, возгласы газетчиков, далекий, но отчетливый (по праздникам) колокольный звон, – и ты мысленно увидишь Москву в ее звуковом выражении», – писал он.

В другом письме он подробно рассказывал о Мите, который ушел из частной больницы и стал работать в научно-исследовательском институте. Очевидно, это досталось ему не очень легко, потому что Андрей был свидетелем скандала, когда Митя решительно объявил жене, что он отказался бы от этой «медицинской Сухаревки», даже если бы ему пришлось голодать. Но голодать не пришлось. На конференции в Наркомздраве он доложил о своей работе по сыпному тифу, и ему предложили еще какое-то место, так что «бюджет семейства Львовых», как иронически сообщал Андрей, увеличился вдвое.

В третьем письме Андрей доказывал, что мне непременно

но нужно учиться в Москве, потому что это город, в котором «стремление к великому принимает самые разнообразные формы».

Словом, это были письма человека, который в пролетке с откинутым верхом отправился в будущее, а я осталась у подъезда и все еще с надеждой и грустью смотрю ему вслед.

Но вот я получила от него письмо, в котором он много и с любовью писал о Павле Петровиче и горько упрекал себя и меня в том, что мы не ценили и не понимали его. «Я помню, как девочкой ты сидела у его ног и он спрашивал у тебя таблицу умножения. Когда умерла твоя мать, он сам хотел идти к тебе и пошел бы, если бы на него не прикрикнула мама». И дальше шли какие-то непонятные намеки на мою неблагодарность по отношению к старому доктору – неблагодарность, о которой Андрей лишь недавно узнал.

Едва справляясь с поднявшимся в душе вихрем горечи, разочарования, обиды, прочитала я это письмо. Это было проще всего – написать Андрею о том, как Глафира Сергеевна надеялась получить комнату Павла Петровича для своих родителей и поэтому отправила его в Дом инвалидов. Но я не стала. Наше прощанье на Тесьме вспомнилось мне. «Не забывай!» Стоило ли просить меня об этом?

Зато однажды, вернувшись из школы, я нашла под дверью письмо, которое обрадовало и изумило меня.

«Наталье Тихоновне Власенковой», – было крупно напи-

сано на конверте, и я разорвала его с горьким чувством. Письмо было от Василия Алексеевича Быстрова, того самого друга маминой молодости, о котором она всегда рассказывала с немного преувеличенной пылкостью, точно боялась, что я могу не поверить в самый факт существования такого безукоризненного человека. Василий Алексеевич сообщал, что теперь он работает не на Путиловском, а на «Электросиле» и что будет от души рад увидеть старую знакомую, да еще с дочкой, «тем более что и у меня есть дочка семнадцати лет, ровесница вашей Тани». «Да приезжайте-ка поскорей, – писал он, – а то и не узнаете нашу заставу. На месте домика, где было собрание Гапона, теперь общественный сад, и мы думаем обнести его решеткой от Зимнего дворца».

Значит, в Петрограде, который, как я ни храбрилась, казался мне величественно-равнодушным, будет все-таки дом, в котором меня приветливо встретят, хотя бы из уважения к памяти мамы. Правда, Ниночка звала меня к себе, и Гурий клялся, что ребята из Стумазита не дадут мне погибнуть от голода и холода на улицах Петрограда, но от письма Василия Алексеевича повеяло чем-то «маминым», прочным, верным, и у меня стало веселее на душе...

С трудом вспоминаю я два или три месяца, пролетевших после смерти Павла Петровича до моего отъезда. Должно быть, от его старого сердца начиналась дорожка ко многому, чем я дорожила в Лопяхине, потому что теперь, когда эта дорожка потерялась в снегу, завалившем Павскую гору, все

стало скучно, и с одной мыслью – скорее, скорее! – я начала готовиться к отъезду.

Так проходят выпускные экзамены – скорее, скорее!

В райкоме комсомола мне выдают документ, который можно назвать как угодно: характеристикой, рекомендацией, путевкой, но который больше всего похож на ультиматум с требованием немедленно принять меня в Институт экранного искусства.

У меня нет туфель, и в Уполитпросвете – странное совпадение! – вдруг устраивается лотерея на прекрасные туфли «Скорород» с модными острыми носками. Я беру всего два билета и, к своему изумлению, выигрываю туфли, без которых ума не могла приложить как уехать. Загадочно улыбаясь, меня поздравляют: «Судьба!» С подступившими к горлу слезами я беру этот «подарок судьбы».

Мария Петровна и Надежда Петровна сообща шьют мне платье – на каждый день, но чтобы не стыдно было надеть его в театр, в гости, причем Мария Петровна берет на себя теоретическую, а Надежда Петровна – практическую сторону дела. Сообща они пекут мне в дорогу пирожки с луком – вкуснее лопахинских пирожков с луком я ничего и никогда не ела. Сообща стремятся дать мне в дорогу банку с грибами, и насилу удается мне убедить их, что эти грибки мы съедим будущим летом по случаю моего возвращения. Скорее, скорее!

Каждый вечер отец приходит ко мне – я ночую у Марии

Петровны – и робко садится на краешек кресла. Я вижу, что ему хочется поговорить со мной, – о чем? В сотый раз я прошу его побережь чемодан с бумагами старого доктора, и отец обещает, что в случае любого бедствия – пожара, землетрясения, войны – прежде всего будут спасены эти бумаги. Но вот что, оказывается, беспокоит его больше всего: клад. Какой-то амурский спиртонос перед смертью сказал отцу, где находится клад: «на острове против станицы Иннокентьевка». Так вот, если отец найдет клад, по какому адресу мне выслать половину?

Июньским прохладным утром, таким ранним, что проснувшиеся скворцы еще только начинали лопотать свой беспорядочный вздор, я сижу в пролетке, и новенький чемодан – подарок школьных товарищей – стоит у меня в ногах. Соседи и друзья – у ворот. Отец плачет. Скорее, скорее!

Пролетка трогается. Так вот она, эта минута, которую я ждала с таким нетерпением! Почему же мне грустно? Почему, стараясь удержать дрожащие губы, я смотрю по сторонам – на старые-престарые, знакомые-презнакомые дома на Малой Михайловской, по улице Карла Либкнехта, по Развяжской? Неужели завтра я их уже не увижу?

Лошадь тащится, извозчик попался старый и лишь невнятно бормочет в ответ на мои уговоры. Скорее, скорее!

Глава третья. Студенческие годы

Испытание

Не буду подробно рассказывать о том, как одна девушка, которой в поезде исполнилось восемнадцать лет, приехала в Петроград, – боюсь, что мне не поверят.

В самом деле, как поверить тому, что, сойдя с поезда, она долго сидела на тумбе у пивной «Райпепо», недоумевая, почему трамвай за трамваем равнодушно проходят мимо, несмотря на то что, отчаянно крича, она каждый раз устремлялась к ним со всеми своими вещами? Вскоре она научилась садиться в трамваи на остановках. Но долго еще она не умела различать маршруты по разноцветным огням, долго завидовала другим девушкам, спокойно и, как ей казалось, гордо ходившим по улицам этого громадного города, не боясь заблудиться.

Как поверить тому, что, уйдя в первый день приезда из гостиницы, она забыла свой адрес и, растерявшись, побежала по Лиговке, спрашивая во всех «номерах», не здесь ли остановилась некая Власенкова Т. П. из Лопихина, невысокого роста, в туфлях без калош и в кожаной шапочке-пилотке?

Как поверить тому, что в тот же вечер по меньшей мере десять юношей из Студии массовых зрелищ и торжеств,

во главе с Гурием, устроили массовое торжественное зрелище моего переезда к Нине? Картинно драпируясь в генеральскую шинель-накидку, купленную на Обводном за два рубля сорок копеек, во главе процессии шел Гурий с палкой в руке.

Как поверить тому, что в Нининой комнате не было печки, и тем не менее мы аккуратно платили хозяйке за услуги и отопление? Услуги выражались в том, что хозяйка – здоровая, румяная женщина – с утра до вечера рассказывала нам о своих болезнях; а отопление – в том, что время от времени она приносила нам паровой утюг. Зато мы всегда ходили в аккуратно выглаженных платьях.

В Институте экранного искусства на улице Чайковского я получила программу приемных испытаний и была очень довольна, узнав в канцелярии, что для поступления не нужно ничего, кроме таланта. Мои этюды очень понравились Нине. Но она нашла, что у меня слишком обыкновенная походка для кино, и посоветовала взять несколько уроков ритмики, чтобы ноги стали двигаться более плавно. Это был превосходный совет, тем более что известная ритмичка жила на проспекте Либкнехта, недалеко от Нины. Пришлось кое-что отнести в ломбард, чтобы взять у нее три урока, но зато я научилась плавно ходить, то есть «неся ногу низко над полом, опираться сперва на носок, а потом на пятку». Это выходило немного похоже на цаплю, но ритмичка сказала, что ее вполне устраивает это сходство, поскольку цапля в тысячу раз ритмичнее человека.

Давно уже и по несколько раз были просмотрены с практическими учебными целями знаменитые фильмы «Индийская гробница», «Доктор Мабузз», причем, к своему изумлению, я обнаружила, что в Петрограде, как и в Лопухине, перед каждым сеансом появляется лектор и, не обращая внимания на свист мальчишек, читает об авиации, если герой летит на аэроплане, или об орошении полей, если действие происходит в деревне.

Я размышляла о своих чувствах и приходила в отчаяние: мне казалось, что для будущей киноактрисы у меня слишком ничтожные чувства.

Я возилась с воображаемыми душевными муками. Это было очень трудно, потому что муки не помещались в моей душе и мне всегда невольно представлялось, что все должно закончиться благополучно.

Наружность – вот что беспокоило меня больше всего! Но решительно все – и Ниночка, и Гурий, и Володя Лукашевич – находили, что у меня «фотогеничная наружность».

– Впрочем, при одном условии, – глубокомысленно сказал Гурий, – если твой контраст – светлые волосы и темные глаза – получится на экране...

Это было накануне экзамена, когда Ниночка объявила, что мне необходимо отдохнуть, и я поехала на завод «Электросила» разыскивать маминого друга Василия Алексеевича Быстрова. Впрочем, разыскивать не пришлось, потому что первый же прохожий, которого я остановила, сойдя с трам-

вая у завода, сказал, что Василий Алексеевич сейчас, очевидно, в модельном цехе или – тут он взглянул на часы – уже в районном Совете. Когда через несколько минут на заводском дворе я задала тот же вопрос одному из рабочих, он, прежде чем ответить, тоже посмотрел на часы. Право, можно было подумать, что весь район знает, чем Василий Алексеевич занимается в три часа и чем – в четыре! Почему-то это не понравилось мне, и с внезапно возникнувшим чувством предубеждения я направилась к техническому зданию, которое указал мне рабочий. Здание было обыкновенное, старомодное, но, пройдя через его темноватый вестибюль, я наугад толкнула тяжелую дверь – и остолбенела: громадная мастерская с черным полом, в которой люди в замасленной одежде что-то делали у машин, открылась передо мною. Мне случалось бывать на лопахинском кожзаводе, но разве можно было сравнить его с этим высоким, мрачноватым залом, над которым ходили туда и сюда стальные краны. На другом конце люди казались маленькими, как в перевернутом бинокле!

Я нашла Василия Алексеевича в толпе озабоченных людей, молча стоявших у края довольно глубокой ямы, в которой вертелся, тускло поблескивая, какой-то круглый предмет, похожий на гигантский волчок. Василий Алексеевич был пожилой узкоплечий человек, в кепке, в очках, с седеющей бородкой – ничего общего с тем Василием Алексеевичем, который рисовался передо мной в маминых рассказах!

– Василий Алексеевич, я – Таня Власенкова, – начала я не очень уверенно. Он обернулся. – Здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Я приехала из Лопихина. Мама писала вам, и я...

Он слушал, не отрывая взгляда от ямы, в которой, с моей точки зрения, не происходило ничего интересного, и, когда я кончила, сказал рассеянно:

– Да, да. Очень рад... Но вам нужно познакомиться с Леной.

Только что я собралась рассказать ему, как часто мама вспоминала о нем, как мечтала теперь, после революции, побывать в Петрограде, а он отсылал меня знакомиться с какой-то Леной.

– Кто эта Лена?

– Моя дочка, – ответил Василий Алексеевич. – Вы наш адрес знаете?

– Нет.

– Международный, двадцать один, квартира четыре. Зайдите к ней. Она сейчас дома.

Потом он спросил, где я остановилась, и, ответив, я постояла подле него еще две-три минуты, особенно тягостных, потому что он, кажется, только и ждал, чтобы я поскорее ушла. Наконец я пробормотала:

– До свиданья.

Он ответил: «До свиданья», и, расстроенная, обиженная, я вернулась домой.

Нина стала приставать с расспросами. Но я холодно ответила, что мама, без сомнения, просто ошиблась, потому что никакого Быстрова нет и никогда не было на заводе «Электросила».

Разумеется, мне и в голову не пришло, что гигантский волчок, от которого, разговаривая со мной, Василий Алексеевич не мог оторвать взгляда, был первым ротором турбины Волховстроя.

Кажется, нельзя назвать уверенность в себе моей характерной чертой, но, отправляясь на другой день в Институт экранного искусства, я была твердо убеждена, что экзамен пройдет прекрасно. Эта уверенность превратилась в дивное, величественное спокойствие, когда маленькая женщина с пушистой седой головкой попросила меня сыграть этюд, очень похожий на тот, который я нашла в «Хрестоматии» и часто разыгрывала дома.

– Представьте себе, что вы входите в комнату... – сказала она.

Согласно хрестоматии, полагалось разбить этюд на «побуждения». У меня было мало времени, но я разбила и даже наскоро сыграла каждое «побуждение» в уме.

– Ну-с, прошу, – сказала женщина с пушистой головкой.

Ее я ничуть не боялась. Но рядом сидел высокий, здоровый мужчина с зачесанной назад шевелюрой, с толстым носом, чем-то похожий на лихача. Потом я узнала, что это из-

вестный кинорежиссер. Его я боялась.

В общем, этюд был сыгран прекрасно, хотя в одном месте я забыла улыбнуться с горечью, а в другом – неудачно вздохнула. Но кинорежиссер почему-то засмеялся, едва я появилась перед экзаменационным столом, а женщина с пушистой головкой странно поджала губы, несмотря на то что я двигалась согласно правилам ритмики, ступая сперва на носок, а потом на пятку.

– Можно отпустить?

– Пожалуйста, – сказал режиссер.

С радостным чувством, что лучше сдать испытание было почти невозможно, я побежала в консерваторию к Нине, потом обедать, потом по каким-то делам...

Вечером, с Гурием и Володей Лукашевичем, мы пошли в театр, и, возвращаясь домой белой ночью, я впервые почувствовала, как хорош Петроград! До сих пор мне было некогда думать об этом. Но теперь, когда можно было не сомневаться, что я буду принята в институт, когда кончились эти волнения, и уроки ритмики, и воображаемые муки, – теперь я по-новому поняла, что я в Петрограде! Неужели это я стою с мальчиками на великолепной набережной и разговариваю и смеюсь, как будто так и должно быть, что я не в Лопяхине, а в Петрограде? Неужели это все правда – огромный, выгнутый мост шириной с нашу Развяжскую, Нева, в сравнении с которой наша Тесьма выглядит настоящей тесьмой? Мост был поднят, проходили суда, и мы долго сидели на парапе-

те. Потом мост опустили, но уже не хотелось уходить, и мы смотрели и смотрели на Неву, любуясь серо-голубыми переливами красок.

На другой день мне нужно было явиться на экзамен по общему образованию, и я явилась, но почему-то не нашла своего имени в списке сдавших спецпредмет, то есть этюды. Это была ошибка, и девушки, державшие со мной, тоже сказали, что, безусловно, ошибка. Я пошла справиться, но канцелярия была пуста, только вчерашний режиссер стоял у стола, лениво перелистывая какую-то книгу. Я поздоровалась и спросила, не знает ли он, почему меня нет в списке сдавших этюды. Он оставил книгу и посмотрел на меня.

– Ах да, – сказал он, вспоминая. – Это, кажется, вы на экзамене так странно ходили?

Я пролепетала:

– Почему странно?

– Вот этого я вам не скажу, – добродушно возразил режиссер. – Вас нет в списке, потому что вы не сдали этюда.

Должно быть, я побледнела, даже пошатнулась, – он сделал шаг, чтобы поддержать меня. Потом я оправилась, и мы поговорили – недолго, минут десять.

Он сказал, что работает в театре много лет и часто встречал людей, далеких от призвания актера, но такую далекую, как я, встречает впервые.

– Поверьте, что я говорю это для вашей же пользы, – сказал он. – Вы можете стать инженером, математиком, педаго-

гом – кем угодно. Но актрисой – даже очень плохой – вы не будете никогда!

Я поблагодарила его и ушла.

Повернувшись лицом к стене, я пролежала весь день, не слушая Нину, которая уверяла меня, что ничего особенного не произошло, тем более что Гурий берется устроить меня на курсы техники речи, а техника речи все равно пригодится мне, потому что уже начинают писать о говорящем кино. Я попросила ее съездить в институт за документами и, по правде говоря, немного всплакнула, оставшись одна.

Как это вышло, что с детства я решила быть врачом и вдруг вообразила, что у меня есть театральный талант? Никто из знатоков театра не видел меня на сцене. Никто, кроме наших ребят, не говорил, что я хорошо сыграла свою роль, – роль, в которой не было произнесено ни единого слова!

Должно быть, эти грустные мысли наконец утомили меня, потому что я заснула, а проснувшись, увидела рядом с Ниной незнакомую девушку, бледную, с широко расставленными глазами, некрасивую, но с приятным лицом.

– Я – Лена Быстрова, – сказала она, заметив, что я проснулась. – Я тебя целый день ищу. Меня отец за тобой послал.

Она помолчала, потом села подле меня на постель.

– Ну, чего молчишь? Подумаешь, провалилась! Милая моя, да это прекрасно, что ты провалилась! Вот тоже выдумала: Институт экранного искусства! Нужно получить настоящее высшее образование – вот что! А если у тебя талант,

неужели он свое не возьмет? Чехов был кто по образованию? Врач! И что же – медицина ему помешала? Один композитор – фамилию забыла – был химик, а Сеченов – знаешь, знаменитый? – был сперва кто? Обыкновенный сапер! Ты не думай, я тоже долго сомневалась, тем более что у меня все подруги были против, а за меня только отец, и то потому, что я к нему подлизалась. В общем, я выбрала медицинский. И знаешь, что я тебе скажу, – поступай в медицинский. Ты в школе чем интересовалась – природой или историей? Я обобщаю, конечно, но ты меня понимаешь. Если природой – двигай на медицинский! Не проиграешь.

Я слушала ее и молчала.

И вдруг, точно наяву, я увидела старого доктора, сидящего под цветущим каштаном, положив на колени энергично сжатые руки.

Первые годы

Это было нелегко – отложить исполнение заветного желания и перейти на другую дорогу, по которой я побрела, оглядываясь и спотыкаясь. Горькое чувство неуверенности – чувство, в котором так не хотелось признаваться, – преследовало меня очень долго. Оно усилилось, когда я вошла в жизнь медицинского института и множество дел, забот, впечатлений со всех сторон обступило меня. Это была жизнь, полная сложных отношений, общественных и личных, скре-

цивающих влияний, нерешенных вопросов, в сравнении с которыми вопросы, волновавшие лопахинских школьников, казались наивными и даже немного смешными. Словом, это была жизнь, нисколько не считавшаяся с тем прискорбным обстоятельством, что одна из тысяч студенток мечтала стать актрисой и провалилась на испытаниях в Институт экранного искусства.

Почти все студенты работали, и нельзя сказать, что это было легко: занимаясь с девяти до пяти в институте, по вечерам, иногда на всю ночь, отправляться в порт, на деревянные базы, в «скорую помощь». Но на стипендию, очень маленькую, трудно было прожить, а наша студенческая артель, делавшая шнурки и чернила, почему-то не превратилась в «мощное производственное предприятие» – так подсмеивалась над ней «Risus sardonicus», наша газета.

Это были люди разных возрастов и даже поколений – медики, ушедшие на Гражданскую войну и вернувшиеся в институт после перерыва (у некоторых были дети, игравшие на дворе, пока училась мама), и молодые люди, только что окончившие среднюю школу. Это были фельдшеры – пожилые люди, всю жизнь мечтавшие о высшем образовании и теперь сменившие свое прочное положение в украинских, сибирских, уральских деревнях и селах на шаткую, необеспеченную студенческую жизнь. Это были дети интеллигенции, главным образом молодежь из крестьянских и рабочих семей – словом, люди настолько разные, что иногда казалось

даже странным: какое чудо могло объединить их в одной аудитории, лаборатории, в одной комнате студенческого общежития?

Весь первый курс я прожила у Нины, и, кажется, только потому, что у нас не было ни одной свободной минуты, мы не замерзали в этой комнате, отапливаемой паровым утюгом.

Нина училась в консерватории и служила там же, в пожарной охране, так что ей часто приходилось оставаться на ночные дежурства. А я – чем я только не занималась! Гурий достал мне работу в издательстве «Маяк»: для нового календаря нужно было найти подходящие антирелигиозные произведения в стихах и в прозе на каждый праздничный день, придумать имена и т. д.

К сожалению, мне достался не весь календарь, а только конец февраля и половина апреля. Антирелигиозных произведений было мало, и я предложила заменить их естественно-научными, объясняющими некоторые явления природы – гром, молнию и тому подобное. Эти «произведения» я написала сама, легко разобравшись, к своему изумлению, в книгах, которые еще совсем недавно казались мне очень трудными. Очевидно, лекции старого доктора не пропали даром.

Но вот календарь был сдан, и я устроилась на выставку знаменитого в те годы художника Т. В пустом зале Академии художеств висело на стене его полотно – огромная спираль, в которую были вписаны три геометрические фигуры: шар, куб и призма. По идее художника, который тут же да-

вал объяснения, все три фигуры должны были непрерывно вращаться, причем в шаре помещалась Вселенная, в кубе – Солнечная система, а в призме – Земля. Я так хорошо запомнила эти объяснения потому, что каждый день от двенадцати до шести сидела в этом большом, пустом, холодном зале. Было трудно предположить, что подобное произведение кто-нибудь захочет украсть, но, к счастью, эта мысль не приходила в голову устроителям выставки, – к счастью, потому что за шесть часов дежурства мне платили десять миллионов, или один рубль золотом по курсу Госбанка.

Так прошла вся зима, и я не только успевала служить, не только занималась в институте, но бывала в театрах, и довольно часто. Мы с Ниной ходили в маленький театр на Невском, «Гиньоль», где ставились только очень страшные пьесы, так что весь вечер приходилось дрожать, а потом Нина не могла заснуть и лезла ко мне в постель, и мы обе тряслись, ругая друг друга.

Почему первые годы моей студенческой жизни представляются мне чем-то вроде кинокартины? Отдельные, бессвязные кадры проносятся передо мной, но это кажущаяся бессвязность: в глубине, до которой я сама добиралась с трудом, они пронизаны одной и той же мыслью – мыслью, которая смутно представилась мне, когда, прислушиваясь к уговорам Лены Быстровой, я вдруг увидела перед собой старого доктора под цветущим каштаном, озаренным лучами заходящего солнца.

Вот я вхожу в зал, где на каменных столах лежат мертвые – мужчины и женщины, старики и дети. А вокруг разговаривают, занимаются, шутят. И я, как другие, разговариваю, смеюсь, ем, едва справляясь с тошнотой, подступающей к горлу. Как другие, я курю, чтобы избавиться от запаха формалина, преследующего меня в столовке, на улице, дома. Страшно, но я провожу скальпелем по восковому, кукольно-послушному женскому телу – «не проснется, мертвая!». Кто она, откуда? Как ее зовут? Отчего она умерла? Есть ли у нее родные?

Это первый день в анатомическом театре.

Вот на собрании я рассказываю свою биографию, и стипендия в двадцать пять рублей присуждается мне подавляющим большинством голосов.

На первом курсе я увлекаюсь вечеринками – теми самыми, о которых с изумлением вспоминаешь на пятом! Неужели это я тащу через весь город из одного дома патефон, из другого – пластинки, огорчаюсь, что в маленькой комнате нельзя танцевать, сержусь на Лелю Сопикову, у которой прекрасная квартира на Загородном?

Вот я слушаю лекции, составляю конспекты, зубрю по ночам, волнуюсь перед сессией, а из сердца все не уходит горькое сознание неудачи. «Вы можете стать кем угодно. Но актрисой – даже очень плохой – вы не будете никогда!» Я слышу эти слова на лекциях, читаю на страницах учебника, среди бесчисленных латинских названий...

А жизнь идет, день за днем, за месяцем месяц. Очень жаль, но выясняется, что я ничего не знаю по физике, даром что выпускной экзамен сдала на «вуд». На свете есть, оказывается, химия – предмет, которого почему-то не было в нашей школьной программе.

Анатом утверждает, что нет ничего вреднее зубрежки, что главное в его науке – система. Удачно соединяя эти понятия, я систематически зубрю анатомию – в трамваях, на заседаниях, на выставке художника Т. – и зазубриваюсь наконец до того, что о каждом движении, своем или чужом, невольно начинаю думать с анатомической точки зрения. Вот передо мной идет человек – и я думаю, какие у него сокращаются мышцы. Вот Леша Дмитриев, наш секретарь профкома, произносит речь на свою любимую тему – о вреде ухода в академработу, – а я думаю: «Какая великолепная работа *musculi orbicularis ori!*»

Жизнь идет, день за днем, за месяцем месяц. И вдруг все останавливается, уходит из глаз, замирает...

Зимним январским днем 1924 года миллионы людей под траурными знаменами направляются на Марсово поле. Глухой, взволнованный говор. Похудевшие лица с твердой складкой у рта, с провалившимися глазами: «Товарищи, умер Ленин».

Гудки заводов – траурный салют. Маленькое красное солнце, неподвижно стоящее в туманном морозном небе, и слезы, и молодые клятвы верности тому, кто доказал, что в

нашей власти – и в моей – изменить жизнь и сделать ее счастливой и прекрасной. . .

Я сказала, «что моментальные снимки» первых студенческих лет лишь кажутся бессвязными, а на самом деле далеко не случайно, что в памяти сохранились именно они, а не десятки и сотни других. Да, может быть! И все-таки главная причина этой неполноты и бессвязности заключается в том, что, после моего провала в Институте экранного искусства, я долго жила, не чувствуя в душе того горения, которое озаряет все вокруг и делает каждую подробность жизни запоминающейся и отчетливо яркой. Этот период кончился, когда на втором курсе я услышала лекции профессора Заозерского.

Он читал микробиологию, и первая лекция была как бы введением, но как не подходило к ней это слово! Это были живые картины из истории науки, которые он рисовал перед нами, как волшебник, одной фразой, одним энергичным движением маленькой пухлой руки. Так появился перед нами охваченный чумою Лондон 1605 года, полчища крыс, поселившихся в опустевших домах, белые кресты у входов, костры на перекрестках, ночные бесконечные вереницы телег, перевозивших трупы, толпы безмолвных жителей у королевского дворца – считалось, что прикосновение короля изгоняет болезнь. Он прочитал сообщение, появившееся в газете «Интеллидженс»: «Сим объявляется, что его величество изъявило непоколебимое решение никого более не исцелять

до дня Михаила Архангела. Да примут сие к сведению лондонцы и да не потерпят разочарования в своих надеждах».

Тысячу раз я видела деревянные диски на канатах, которыми закрепляют у пристаней пароходы, и только теперь, из лекции Заозерского, узнала, что эти диски мешают чумным крысам спускаться на берег.

Он рассказал, что, когда Дженнер открыл прививку против оспы, его противники основали специальный журнал, в котором, искажая факты, порочили оспопрививание. Борьба была перенесена в парламент, где почтенные джентльмены доводами из Библии доказывали, что вакцинация – это преступное и позорное дело. Прививка коровьей оспы, утверждали они, может превратить человека в корову.

– Это было сто двадцать лет назад. Но борьба продолжается. В Англии до сих пор нет закона об обязательном оспопрививании. Таким образом, нельзя сказать, что усилия противников Дженнера остались безуспешными, – с иронией добавил Заозерский. – В Британии Библия победила.

Не помню, как он перешел к Мечникову, помню только движение интереса, пробежавшее по аудитории, когда он сказал, что прекрасно знал Мечникова и работал у него на бактериологической станции в Одессе в 80-х годах. Веселое выражение заиграло на его лице, едва он упомянул это имя, и обширные, как бы написанные маслом исторические картины сменились маленькими, выпукло-точными, которые он стал быстро показывать нам одну за другой.

Вот девятилетний мальчик читает своим братьям лекцию и платит каждому по две копейки, чтобы они дослушали ее до конца. Но братья великодушно отказываются от гонорара. Вот шестнадцатилетний гимназист печатает первую рецензию, а восемнадцатилетний студент – первый научный труд. Вот Мечников решает пройти четырехлетний университетский курс в течение двух лет и проходит еще скорей – в полтора года. Вот двадцатилетний юноша докладывает о своих исследованиях на съезде зоологов в Германии, а двадцатидвухлетний, вернувшись в Россию, получает первую премию имени Бэра.

Проходит еще три года, и профессор читает свою первую лекцию в переполненной аудитории Одесского университета.

– Прибавим к этим знаменательным цифрам еще одну, – смеясь, сказал Заозерский. – Ему не было и тридцати лет, когда его труды получили мировую известность. Что же это были за труды? Он был зоологом – почему же в русской и мировой микробиологии его имя занимает первое место? Было бы непосильной задачей рассказать обо всем, что сделал этот человек, занимавшийся вопросами происхождения и развития низших животных, механизмов защиты организма от микробов, естественной историей, причинами преждевременной старости человека. Я расскажу о гениальном открытии фагоцитоза...

Оля Тропинина, моя подруга по институту, о которой я

еще расскажу, как-то сказала, что лекции Николая Васильевича Заозерского так же похожи на его печатный курс, как гениальное исполнение какой-нибудь симфонии – на ее нотную запись. В самом деле, какими холодными кажутся слова: «1882 год. Италия, чудная природа мессинского побережья. Мечников один, семья уехала в цирк. Усталые глаза не открываются от микроскопа. Он наблюдает жизнь подвижных клеток в личинке морской звезды...» И какую глубину, какую живописность придавал им Заозерский, заставлявший слушателей почувствовать за этими словами рождение гениальной мысли!

У меня защипало в горле, и по спине, поднимаясь все выше, побежали звездочки восторга и счастья. Шепот раздался за моей спиной, я обернулась. Незнакомый студент, пыхтя и гримасничая, писал записку Маше Коломейцевой, моей соседке по комнате. Маша сидела, вся красная, с трудом удерживаясь от смеха. Она не дослушала Заозерского – вот что меня поразило! Впрочем, эта сцена лишь скользнула передо мной и мгновенно ушла из сознания.

Полный немного сгорбленный пожилой человек с седой бородкой, с быстрыми легкими движениями маленьких рук расхаживал по аудитории и говорил о неоткрытых тайнах природы.

– Уходящий в бесконечность путь научного труда лежит перед мыслящим человеком. Это путь сомнений, исканий. Но зато какие светлые минуты достаются на долю того, кто в

результате этих мучительных трудов и исканий находит хоть крупицу общей истины, объясняющей еще неведомую тайну природы! Сегодня мы говорили о великих умах прошлого, шедших вперед, в то время как миллионы спотыкались в непроглядном мраке. Судите же сами, какая гордая задача ждет тех, кто захочет повернуть науку лицом к этим миллионам...

Случалось ли вам когда-нибудь испытывать чувство возвращения времени, когда начинает казаться, что все происходящее с вами уже было когда-то прежде, в детстве или, может быть, даже во сне? Врачи называют это явлением «ложной памяти». Именно это чувство я с удивительной силой испытала на лекциях профессора Заозерского. Разумеется, это было возвращением к тем долгим зимним вечерам, которые я некогда провела на скамеечке, подле ног старого доктора, обутых в рваные боты, когда полудетское воображение впервые с изумлением остановилось перед сложностью и красотой живого. Но наука старого доктора представлялась мне в отвлеченно-поэтическом виде, а теперь, когда я слушала Заозерского, поэзия на моих глазах становилась живой, увлекательной правдой.

Скоро начались практические занятия по микробиологии, ассистенты стали учить нас, как обращаться с микроскопом, как окрашивать микробы, – и у меня было ощущение, что я зашла в таинственный мир Павла Петровича с черного хода – зашла и стою на «кухне», с любопытством оглядыва-

ьясь кругом. Но вот предмет был сдан, а я все еще чувствовала, что не сделала из «кухни» ни шагу. Я только догадывалась, что именно эта, внезапно вспыхнувшая уверенность, что интереснее микробиологии нет ничего на земле, ведет меня вперед, помогая найти дорогу среди множества противоречивых впечатлений.

Ранняя зима. Утро после бессонной ночи, когда было обдуманно каждое слово. Кафедра микробиологии. Ассистентка Николая Васильевича, к которой решено обратиться именно потому, что она ассистентка. Женщина женщине не откажет.

– Я интересуюсь микробиологией. Позвольте мне у вас заниматься.

Высокая, красивая женщина, иронически улыбаясь, смотрит на меня сверху вниз.

– Какой же раздел этой науки занимает вас больше других?

Ответ давно выучен наизусть и минувшей ночью тысячу раз повторен под одеялом.

– Меня занимает открытие ультрамикроскопического мира, которое нельзя рассматривать иначе как появление нового, широкого поля действия для эволюционной теории.

Долгая пауза.

– Хорошо, я поговорю с профессором. Впрочем, едва ли он разрешит: у нас нет ни одного свободного места.

Снова пауза. Ассистентка молчит, и я ухожу из лаборато-

рии. В непонятном, беспечном настроении я брожу по коридорам, заглядывая то в один кабинет, то в другой. В состоянии отчаянной решимости, переходящей в полное отсутствие мысли, я спускаюсь в вестибюль и, спросив у сторожа, когда придет профессор, степенными, но легкими шагами направляюсь прямо в его кабинет.

Ни души! Но, должно быть, служитель, принесший графин с водой, только что вышел – еще качается в графине вода, и зайчики бесшумно, послушно перебегают со стены на ковер, на портьеру, за которой я стою не дыша.

Профессор является – его легко узнать по шуму дыхания, шороху шагов и вообще по какому-то ему одному присущему добродушному шуму. Сотрудники входят и выходят, красивая нарядная ассистентка проплывает так близко, что я чувствую движение воздуха от ее качнувшегося платья. Зайчики еще перебегают, но все короче размах, еще минута – они остановятся, и тогда... Я слушаю, как профессор встает и неторопливо запирает двери на ключ. Насвистывая, он направляется прямо ко мне. Он хватает меня за руку и вытаскивает из-за портьеры.

– Ну-с, сударыня?

Я знаю, что нужно сказать: «Профессор, я интересуюсь микробиологией с детства. Позвольте мне работать на вашей кафедре».

Но вместо этих убедительных, давно заученных слов я говорю: «...Ав-ва-ва».

– Что такое?

В первый, но далеко не в последний раз я слышу, как Заозерский смеется. И что это за добродушный, оглушительный смех!..

На всю жизнь запоминается мне разговор, в котором на самые важные в моей жизни вопросы я отвечаю только «да» или «нет».

– Ясно ли вы представляете, что вас ожидает в дальнейшем? Вы, может быть, думаете, что наука – это легкое дело? Это, сударыня, годы труда, самоотверженного и незаметного! Да что там годы – вся жизнь! Это отчаянье, когда вдруг убеждаешься, что десятки опытов пропали напрасно. Когда из этих опытов другой ученый делает вывод, который прошел мимо тебя. Вам, например, кажется, что вы умеете думать?

– Да.

– Сомневаюсь.

Он смотрит внимательно, добродушно, лукаво.

– Думать – это упорно исследовать предмет, подходить к нему с той и с другой стороны, собрать все доводы в пользу того или другого мнения о нем, устранить возражения, признать пробелы там, где они есть, и доказать, что их нет там, где находят другие. Вот это вы умеете?

– Нет.

– А хотите заниматься наукой! А замуж пойдете? Вам сколько лет – двадцать? Пройдет еще два или самое большее

три года, и все науки в мире покажутся вам просто вздором в сравнении с привязанностью любимого человека.

– Нет, нет!

Он улыбается, теребит бородку – доволен.

– Ну что ж? Тогда по рукам?

– Да, да.

Не помню, где и когда я узнала, что до Николая Васильевича в России не было ни одной кафедры бактериологии, что сначала она помещалась в одной комнате, а весь штат состоял из профессора и служителя. Профессор своими руками приготовлял для практических занятий материал и посуду.

Теперь это было большое двухэтажное здание, по которому ходил, улыбаясь и насвистывая «Реке тай стогне Днепр широкий», полный человек с седой бородкой и лукавыми молодыми глазами.

В течение двадцати пяти лет – юбилей был отпразднован, когда я перешла на второй курс, – он вел кафедру, и это не помешало ему руководить крупнейшими экспедициями против чумы и холеры. Он был в Аравии, Маньчжурии, Персии, Индии, Монголии и Китае. В «Ниве» 1895 года напечатано много фотографий, изображающих противочумную экспедицию Заозерского в Китай. Среди них одна очень странная: мандарин торжественно вручает русскому доктору китайчонка. Этого китайчонка Николай Васильевич нашел в деревне, вымершей от чумы, привез в Петербург, усыновил, и теперь на кафедре время от времени можно было видеть

добродушного молодого китайца, который, к огорчению Николая Васильевича, не проявлял ни малейшего интереса к микробиологии, но зато делал великолепные вещи на токарном станке.

Что еще рассказать о Николае Васильевиче? Что у этого известного ученого никогда не было ни копейки – не потому, что он мало зарабатывал, а потому, что с необычайной легкостью тратил, ссужал или просто дарил свои деньги. О том, что он был украинец из бедной крестьянской семьи и всю жизнь переписывался с односельчанами; недаром академик Омелянский писал впоследствии, что «имя Заозерского так же хорошо известно любому китайскому врачу, как и любому крестьянину села Чеботарки». О том, что в молодости он проглотил холерные вибрионы, причем свидетелей поразило хладнокровие, с которым был поставлен этот рискованный опыт.

Словом, это была жизнь удивительная и поучительная, полная необыкновенных событий.

Три дома

С тех пор как я увлеклась микробиологией, мне стало гораздо интереснее жить, потому что в душе опять появилось «главное», к которому я все время прислушиваюсь, как музыкант, настраивая свой инструмент, прислушивается к камертону. Но это вовсе не значит, что я жила иначе, чем дру-

гие студенты. Так же как другие, я слушала лекции, ходила на практические занятия, а потом кафедра, общественная работа и еще тысячи каких-то дел, с такой быстротой погонявших неделю за неделей, что я прекрасно помню удивление, с которым каждый раз встречала новое время года: как, уже весна? Ведь только что была осень! Зимой, по выходным дням, мы ездили в Юкки. И так хороши были эти катанья с гор среди белых мохнатых деревьев, это чудное ощущение усталости, молодости и здоровья, когда, вернувшись домой, ляжешь, закроешь глаза, и сейчас же перед тобой с поразительной яркостью возникает белый, сверкающий снег и синее небо!

Перейдя на второй курс, я получила место в общежитии на улице Льва Толстого. Соседки – комната была на четверых – менялись, я оставалась, и, таким образом, перед глазами прошли по меньшей мере десять девушек, умных и не очень умных, беспорядочных и аккуратных, шумных и тихих. Среди них была Вера Климова, настоящая медичка по призванию, в которой с первого же дня клинических занятий почувствовалось умение подойти к больному. А были и мечтавшие лишь о счастливом замужестве, у которых, как у Маши Коломейцевой, всегда хотелось спросить, почему для этой цели был избран медицинский, а не какой-нибудь другой институт.

Еще на первом курсе я подружилась с Олей Тропининой; мы были едва знакомы, когда на заседании предметной

комиссии она прислала мне записку: «По мнению оратора, между интеллигенцией и комсомолом – стена. Докажем обратное».

Сдержанность, которая очень нравилась мне, была в наших отношениях с Олей: мы, например, почти никогда не говорили о личных делах. Впрочем, однажды она сказала, что не выйдет замуж, и, когда я спросила с удивлением: «Почему?» – ответила, что у нее недавно умерла мать и она дала себе слово никогда не расставаться с отцом.

У Оли было красивое лицо с черными влажными глазами, густая черная коса, которая два раза обвивала изящную небольшую головку. И, глядя на нее, я часто думала о том, как трудно будет ей сдержать свое слово...

В общем, самыми близкими моими подругами по институту были Оля и Лена Быстрова. Кстати сказать, они прекрасно относились друг к другу, но только когда мы бывали втроем. Без меня они ссорились, иногда по самому ничтожному поводу, а потом жаловались мне друг на друга.

Еще об одном человеке хочется мне рассказать, хотя я и не была так близка с ним, как с Олей и Леной, – Леше Дмитриеве, секретаре нашей комсомольской ячейки. Это был высокий, худощавый юноша, застенчивый, легко красневший и поражавший всех, кто его знал, своей убежденностью и чистотой. Он слегка заикался, но этот недостаток не только не мешал ему выступать, но, наоборот, придавал его речам впечатление энергии и силы.

Мне хорошо жилось в общежитии, между прочим, еще и потому, что с третьего курса я вступила в студенческую коммуны. Коммуна была большая, человек двести, со своей хозяйственной и столовой комиссией и со своим казначеем, которому каждый месяц мы отдавали свои стипендии, оставляя себе полтора рубля – не на трамвай: мы ездили зайцами, – а на «чайное довольствие», или, как шутили студенты, «отчаянное удовольствие», состоявшее из ванильных палочек, покупавшихся в булочной на Большом проспекте.

Но, конечно, самое интересное, что происходило в общежитии, это были диспуты на современные темы. Один из них запомнился мне навсегда, потому что в тот вечер к нам приехал знаменитый поэт Маяковский.

Диспут назывался «Искусство и утилитаризм» или что-то в этом роде – в общем, нужно было решить, совместимо ли искусство с утилитаризмом или несовместимо. Первую точку зрения – совместимо! – защищал критик – не помню фамилии, кажется Корочкин, красивый, полный молодой человек в очках, говоривший круглыми, законченными фразами, как бы таявшими в ушах, так что в результате от них решительно ничего не оставалось. Вторую точку зрения – несовместимо! – защищал черный, тоже красивый, с горящими черными глазами критик Лугурье, говоривший необыкновенно быстро и употреблявший множество иностранных слов. Критики сидели на эстраде за двумя маленькими столиками друг против друга и говорили по

очереди. Сперва этот спор казался мне довольно забавным, главным образом потому, что почти каждую фразу они начинали одинаково: «Считаю своим долгом заметить, что уважаемый коллега...» – и мы держали пари, сколько раз еще будет сказана эта фраза. Но потом мы соскучились, и столовая, в которой происходил диспут, стала быстро пустеть. В это время пришел Маяковский.

Он остановился в дверях, такой большой, широкоплечий, что при первом взгляде на него показалось естественным, что именно он написал «Левый марш». Опустив голову, он послушал сперва одного критика, потом другого – и улыбнулся: должно быть, ему стало смешно что они сидят за двумя столиками и так длинно, вежливо называют друг друга. Он пришел с какой-то женщиной, на которую мы все посматривали, – было очень интересно, кто это: его жена? сестра? Женщина сразу же стала что-то говорить ему шепотом, и он должен был наклоняться, чтобы услышать ее с высоты своего огромного роста.

Потом открылись прения, Маяковский выступил, и я впервые услышала этот низкий голос, похожий то на приближавшийся, то на удалявшийся гром. Гурий – он был на диспуте – хорошо заметил, что это голос человека, писавшего стихи, которые невозможно читать шепотом.

Нельзя сказать, что Маяковский высоко оценил значение диспута. Он приблизительно подсчитал, сколько времени потеряно даром, и получилось что-то вроде тысячи восьмисот

человеко-часов.

– Что можно сделать за тысячу восемьсот человеко-часов? – спросил он, глядя на нас исподлобья.

И предложил убрать с трамвайных путей снег в другой раз, когда нам захочется устроить подобный диспут.

– Вот этот Корочкин, – сказал он и кивнул на красивого полного критика в очках, сидевшего слева, – утверждает, что...

И своими словами, очень коротко, он рассказал, что, по его мнению, утверждает Корочкин.

– А вот этот Корочкин, – продолжал он и показал на критика сидевшего справа, – утверждает, что...

Это было так неожиданно после всей той вежливости, с которой противники долго опровергали друг друга, и так обидно и смешно, что критики еще немного посидели и вышли – сперва Корочкин, сидевший слева, потом Корочкин, сидевший справа. А на эстраде, сняв пиджак и повесив на стул, стал расхаживать Маяковский.

– Владимир Владимирович, «150 000 000»! – кричали студенты.

Он остановился, объяснил, что недавно вернулся из Америки, и хотел бы сперва рассказать о ней в прозе...

В этот вечер передо мной вновь с беспощадной силой явилась та простая мысль, что мир расколот и борьба между новым и старым неизбежна и неотвратима. Когда Маяковский сказал, что Пушкина и теперь не пустили бы ни в одну «поря-

дочную» гостиницу или гостиную Нью-Йорка, «потому что у него были курчавые волосы и негритянская синева под ногтями», или когда он привел надпись на могиле повешенных чикагских революционеров: «Придет день, когда наше молчание будет иметь больше силы, чем наши голоса, которые вы сейчас заглушили», – мне стало холодно от волнения, и я обернулась.

Я обернулась, приложив похолодевшие руки к щекам, и увидела множество молодых, серьезных, внимательных лиц – привычных, знакомых лиц моих товарищей по коммуне, по институту, по курсу. Это были «мы», то есть поколение, которое должно было сделать очень многое. Кто знает, как объяснить возникшее во мне чувство? Это было все сразу – и мысль, что у нас будет трудная жизнь, и гордость, что эта трудная, интересная жизнь достанется именно нам, и какая-то лихость, отвага, точно дыхание бури коснулось меня, и я смело взглянула в глаза этой буре. А большой человек крупно, но мягко шагал по эстраде и все говорил, говорил... Он и не думал скрывать трудностей, горестей, страданий, которые нас ожидали. Он сурово требовал от нас ежедневного подвига, «ежедневного и чернорабочего, если это будет нужно народу».

И только однажды Маяковский от души рассмеялся. Рассказывая о бое быков в Мексике, он с иронией назвал его «культурным развлечением». Одна девушка с нашего курса, не разобравшись, в чем дело, спросила:

– Почему вы назвали эти развлечения культурными?

Он ответил очень низким и добрым голосом:

– К сожалению, человеческая речь не имеет кавычек. Разве вот так... – И руками изобразил кавычки.

Кроме общежития, у меня было еще два «главных дома» – Быстровых и Нины Башмаковой. Мои соседки по комнате заранее знали, что если меня нет в первом доме, значит я во втором или в третьем. У Нины тоже был студенческий круг, но удивительно не похожий на наш. Это были консерваторки, студенты Института сценических искусств, молодые артисты, и, слушая их разговоры, я всегда начинала бояться, как бы мне не одичать со своими микробами, которые требовали все больше труда и внимания.

Нина стала очень хорошенькой, ей часто объяснялись в любви, и тогда она прибегала ко мне взволнованная и тащила к себе ночевать – ей необходимо было немедленно обсудить со мной, серьезно это или несерьезно. Почти всегда ей казалось, что серьезно, и мне приходилось – в который раз! – доказывать, что не все люди могут любить, потому что любовь – это такой же талант, как искусство или наука. И Нина, как всегда, засыпала на полуслове, а я еще долго лежала с открытыми глазами. Набережная Тесьмы вспоминалась мне, плоты, плоты, куда ни кинешь взгляд, и утренний парок над ними, и шум у пристани, и то, о чем мы говорили, то, о чем так и не сказали ни слова. И мне начинало казаться в полусне, что это был не Андрей, а Митя, который проходил мимо, не

замечая меня, бледный, с недовольно поднятыми бровями. «А ты, – я спрашивала себя, – могла бы полюбить? Наверное, нет! И очень хорошо, что Андрей перестал мне писать, хотя я так и не знаю, в чем я перед ним провинилась...»

По субботам Володя Лукашевич приезжал из Кронштадта и долго сидел, не говоря ни слова, и, как в Лопяхине, я начинала бояться, что он опять скажет что-нибудь неожиданное и тогда мне снова придется провести «разъяснительную» работу. Заходил Гурий, и Нинина комната превращалась в уголок Лопяхина, точно, уехав из родного города, мы захватили с собой нашу юность.

Зато мой третий дом – это был уж такой Ленинград, что ничего более ленинградского, кажется, невозможно было себе представить.

Это был дом Быстровых.

Давно забыла я и думать о нашей первой «холодной» встрече с Василием Алексеевичем. Теперь я всегда старалась приехать к Лене в те редкие часы, когда он был дома. По выходным дням мы гуляли, и это были интересные прогулки. Он знал историю каждой улицы, каждого дома.

Мы часто говорили о маме, и я узнала странные вещи, очень неожиданные, – например, что в молодости мама была очень красива. «Похожа на румынку, – задумчиво сказал Василий Алексеевич. – Однажды мы с нею были в ресторане „Ташкент“, и одна девушка из румынского оркестра заговорила с ней по-румынски».

Василий Алексеевич рассказывал о маме без всякой таинственности, совершенно иначе, чем она всегда говорила о нем. Так, очень просто он рассказал, как она обманула его и вышла за другого, как и после свадьбы он помогал «молодым» – пытался устроить моего отца на Путиловский, убедил его дать зарок от пьянства, но ненадолго хватило этого зорока.

– Очень хорошо, что ты рассталась с отцом, Таня, – однажды сказал он серьезно. – Это такой человек, которого трудно не пожалеть, а вместе с тем жалеть его – преступление!

Василий Алексеевич работал мастером в модельном цехе, но и дома у него стоял верстачок, на котором он постоянно что-то строгал, вырезал, выпиливал. Впрочем, все были заняты, когда я приходила к Быстровым; но как-то выходило, что эти занятия не мешали разговаривать, смеяться, даже разыгрывать друг друга. Разыгрывали главным образом Марию Никандровну Быстрову, доверчивую, сердито-добродушную, вспыльчивую, со страстью входившую во все заботы и дела молодежи. Сколько раз слышала я ее возмущенные речи по поводу какой-нибудь тетки, которая отказывалась поддержать Лениного товарища или подругу! Сколько раз Мария Никандровна ругательски ругала нашего анатома, который действительно был несправедливо придиричив! Кому только она не помогала – одеждой, деньгами! Она легко увлекалась людьми и трудно, болезненно разочаровывалась. Среди наших студентов она славилась, между прочим, свои-

ми чудесными пирогами, но мы-то с Леной знали, как любила она пробовать новые, рискованные рецепты, часто приводившие – увы! – к поразительным неудачам. Тут уже насмешек хватало по меньшей мере на неделю.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.